

**АНДРЕЙ
АКШИН**

**ФЫРКА
58-АЯ ГРАНЬ**



Книга Алексея Акшина «Фырка. 58-ая грань» — первая из серии о приключениях маленького чертенка-барышни Фырки. Фырка рано осиротела, и ее приютили и воспитали сердобольные сородичи. И все бы шло своим чередом в тихой и размеренной жизни домовенка, если бы главная героиня вдруг не влюбилась... Мало того, что в человека, да еще и умершего в тот же день. И тут Фырка решает расследовать убийство, а что это — именно убийство, она не сомневается. Во время расследования ее подстерегают разные опасности и враги, а также новые друзья и открытия. Но убийство одного человека — это только вершина айсберга, главное находится глубже...

Андрей Акшин

Фырка

58-ая грань

Только не ждите объяснений, сказка сказывается, а не объясняется.

Жоржи Амаду

1

Тяжкое небо накрывает землю, жёлтую ещё с осени, с залежалыми полосками серого снега в каких-то ненужных оврагах и непонятных ложбинах, а огромный всадник в зеленоватом плаще летит над синими лесами, летит с юга и несёт на редкие белые камни прежнего белокаменного града жёлто-зелёную пыльцу берёзового цветения. И не плащ это вовсе, но великое облако, и совсем не всадник, а это вихрь, колоссальный, хотя пока и не страшный ветер, и много чего принесёт он в стольный русский город. И кроме всего принёс вихрь в тот раз нечто маленькое, но не по малости невидимое человеческому глазу, а по причине важной и изначальной. Ветер принёс Фырку. А что принёс

именно сюда, к бывшему урочищу Вострый конец в Зарядье, туда, где потом проломили в китайгородской стене Проломные ворота, ну, а затем и всю стену разломали к чёртовой матери, так это случай.

Вот! Это-то и есть главное: Фырка — маленький чертёнок женского полу. Барышня. А её мать — чёртова мать. Ах, мамаша... мамаша... Холодной сиськой размахнулась, да дочурку-то и обронила. Полезла-полетела мамаша в московский подземный город, город сокровенный, который знающие люди так и называют Сокр, и местом проникновения выбрала, понятно, старое коломнище, то, что в Галебовском подворье, возможно и тайное. С могилами, поначалу сокрытыми кривыми китаинскими переулочками, а ныне пыльными длиннющими домами и пыльными же бульварами. Маленькая, а на вид, так малюсенькая Фырка зацепилась за проросший рябиной нехристианский крест, что было знаком судьбы, ибо всегда так и будет, и осталась чёртеньючка сиротой на поверхности земной, мощёной битым булыжником. Сиротой, потому как мамаша её не искала, зная сгинула в узоре Сокра-подземелья, а папашу чертовочка и узнать не мечтала, да и был ли он, папаша-то...

Неужель мамаша не искала дочурку? Когда Фырка подросла, она начала об этом задумываться.

Не один раз задумываться. И как-то, прыгая с трубы одного дома на трубу другого, то есть играясь, она поняла, что мамка, мчась метеором вниз и вглубь, совсем неслучайно потеряла дочурку на случайно подвернувшейся ветке рябины, в прошлой жизни кресте. Да, Фырка осталась одна, да, без мамки, но... С материнским гребнем, который мамаша успела воткнуть в космы курносой малявки. А ведь чёртов гребень — он, немалая магическая сила! К тому же, Фырка, больно стукнувшись о сколотый кирпич трубы кособокого доходного дома, внезапно вспомнила, вспомнила чёртовым чутьём, что мамка неспроста и не с дури летела сквозь забытое, может и тайное кладбище, а из-за промчавшегося сквозь её тело губительного вихря, внёсшего тяжкую болезнь, возможно и сумасшествие. Да! Последним усилием мать спасала своё чёртово дитя! Тогда, на рябине, её подобрали.

— И где вы её взяли? — спросил жихарей-домовых справный и гладкий чертяра с обкусанным ухом, похожим на сломанный рог, и с бородой, растущей только с левой стороны.

— На рябине у Пышного дома, — ответили жихари.

— Где? — изобразил непонятливость гладкий.

— На улице Секретная Дорожка, — глуповато хихикнул один из домовых, тот, который раньше

служил амбарным.

В этом месте я вынужден дать первое пояснение. Дело в том, что невидимость Фырки и её мамыши, а также всех персонажей, коих можно смело назвать нечистой силой, невидимость для людей-человеков, входит в условия древней игры, нарушения правил которой, я хочу предупредить читателя, очень нередко заканчиваются серьёзной бедой. Сие не означает, что любое такое нарушение — хряц и привет! — но я предупредил, а дальше дело ваше.

Гладкий, а был им известный чёрт Свирид, главный околоточный аблакат китайских овражков и мостовых, улочек и переулков, площадок и бирж, которые у нечистой силы имеют свои названия и приоритеты, сделал вид, что совсем крепко задумался. Даже обкусанное ухо почесал. На самом деле решение он уже принял. Честное решение, — дать кров сироте.

С тех пор Фырка росла без забот, пока не определилась в следующей индивидуальности: малюсенькие рожки, они же косички; сильно курносый нос; нередко пунцовые щёки; эллипсовидные глаза цвета разного не только друг от друга, но и в зависимости от дня и ночи, и от изменчивой погоды. Завершал облик аккуратный хвостик с аккуратной же кисточкой на кончике и

юбочка, обычно легкомысленная. В общем, Фырка выросла. Конечно, рост для чёртика — понятие субъективное, бякой больше, бякой меньше, но всё же величина Фырки достигла беззаботности, что равнялась восьми вершкам, которые были не человеческими вершками, которые прилагались к неназываемым двум аршинам, а самыми настоящими, когда восемь вершков — это две пяди, то есть, примерно тридцать пять с половиной сантиметров. И жили эти восемь вершков безобразий плюс хвостик с кисточкой, в мансарде, понятно, у Свирида.

Назвать околоточного папашей, как-то неумно, но по сути Свирид таковым для Фырки и был. Кормил-поил, наущал в безобидных безобразиях. Звала чертовка чёрта дядькой и делами его мало интересовалась, ибо жила в веселье буйном, буйное веселье-то и подвело Фырку под монастырь. Точнее, над монастырём.

В солнечный летний день с двумя подружками домовыми-чердачными она отправилась на набережную, посмотреть на городское баловство летающих воздушных шаров. Очень Фырка любила всё аттракционное и цирковое. До самозабвения любила! И то ли сие самозабвение случилось, то ли ещё чего, но ухватилась Фырка за верёвочку, взлетевшего в небо вольное, огромного шара и полетела вместе с ним.

И ещё не успев испугаться, пролетая над монастырской пряничной церковью, оттолкнулась от купольного креста ногой и сделала это зря. Потому как ослабла и очнулась под грушей в неизвестном ей саду, за городским кордоном. Груша была полузасохшей и находилась почему-то за приземистой банькой, выглянув из-за которой, Фырка увидела остальной сад и дом в его центре, и решила именно здесь набраться сил для скорого, как она думала, возвращения к родным печным трубам зарядьинских домов.

Дом же в саду выглядел полной чашей. Не до краёв конечно, даже не до каёмочки, но дна точно не наблюдалось. Пополнением чаши хозяева дома, мужчина и женщина, занимались вместе, а приданием блеска бокам, — мужчина. Крепкий, левое плечо повыше правого, весёлый. Звали его Юрий Маркович, но женщина называла мужа Юрча. Просыпался он с криком петуха, таившегося в одном из дворов по соседству, совершал пробежку к речушке, текущей на задах посёлка, но в ней не умывался, а лишь смотрел с мостков на тихую воду и возвращался назад. Мылся в саду, жевал быструю еду, одновременно с поеданием завтрака запуская двигатель авто, и уезжал трудиться.

Женщину Юрча называл Медовой. Она просыпалась ближе к полудню, ныряла в

растянутую майку и долго бродила по дому. Курила, съедала полоску вяленого мяса и яблоко, напевала песенки. Иногда смеялась, а чаще грустила, подперев щёку ладонью. Затем набрасывала халат, выходила в сад, срывала ягоды с кустов... А небо, либо светило солнцем, либо лилось дождём, в любом варианте женщина уходила в дом, варила себе кофе в большой, с вмятиной на боку турке и садилась за стол, который ждал её двумя-тремядесятью писчей бумаги, а то и целой стопой. Если же шёл дождь, то садилась у открытого окна на застеклённой веранде. Туда, на веранду, Медовая не брала ни листочка, а тихо стучала по клавишной доске полупрозрачного ноутбука. Женщина писала книги. А когда писала, она ничего не замечала вокруг и Фырка шарилась по комнатам, чердаку, подполью и саду уже совершенно безбоязненно. Дом и сад Фырке нравились.

К вечеру, когда запахи сада становились гуще, а дом тихонько кряхтел и запускал шорохи, возвращался мужчина. Он шёл к нетопленной баньке, где умывался прохладной дождевой водой, собраной в кадку потемневшего дерева. Из-за того, что баня не топилась те дни, что Фырка обитала в домохозяйстве, чертовка и не заметила банного анчутку, хотя, возможно, просто не хватило сил. В доме же никакого домового-жихаря не обитало, уж

на них-то у Фырки чутьё имелось.

А Юрча намывшись, надевал белые мятые штаны, белую рубаху, расшитую красной нитью и садился ужинать на веранде. Коли Медовая стучала клавиатурой здесь же, то она бросала свою машинку и присоединялась к мужу. А ежели писала в кабинете, что прятался в глубине дома, то оставляла кабинет и, опять же, присоединялась к мужу. После ужина мужчина копался в саду, а женщина помогала. Затем мужчина шёл спать и женщина шла вместе с ним. Однако, через некоторое время Медовая выходила на крыльцо, садилась на широкую плаху ступени и молча смотрела на звёзды, а если звёзд не виднелось, то глядела в темноту и тихо напевала.

Фырка уже набралась сил и подумывала о способе возвращения домой, подыскивая наиболее удобный, но судьбу наперёд не узнаешь. Как всё обернулось-то...

Если уж бодрость и активность возвращаются, то отчего бы и не поколобродить? Всё больше странностей замечала Медовая. То куст шиповника вдруг зацвёл неурочно, да не своим собственным цветком, а чертополохом. То из молока, со дна трёхлитровой банки, приносимой каждое утро деревенской бабой, всплывёт сине-красная лягушка, задрывает лапками на поверхности,

пискнет котёнком, и глядь, а на молочной ряби плавает аккуратный кубик сливочного масла. Ярославского. Фырка была счастлива! Но счастья, как известно, никогда не бывает много и долго, и когда банный анчутка всё-таки напоролся на чертовку, то беседа-знакомство Фырку насторожила. А при осторожности, какое счастье...

— Ты, суматоха! — анчутка зыркал из-под мохнатых бровей и надувал толстые мохнатые щёки. — Ты этово, будь как дома, да не забывай, што в гостях.

— У тебя-то, какой дом? За банным веником? — ехидно спросила Фырка, постучав роговистой пяткой плесны-копытца по крыше бани.

— Ты не ори, этово, поди не дома. Да и дома не ори, — анчутка вывалил дынное пузо за рябую тесёмку, опоясывавшую косоворотку, посопел и добавил: — Смотри, хозяин дома строгий.

— И чё? Отшлёпает меня?! — захихикала чёртова барышня и фыркнула по-городскому. Коротко. Высокомерно.

— Тут, прошлым годом, этово, икота к нам прибилась, — продолжал банник, не обращая внимания на фырганье Фырки, но на всякий случай усевшись на осиновую чурку. — Попервости-то, хромой сорокой, а уж потома-ко бесхвостой кошкой с бельмом на одном глазу. Хозяйка от доброты приласкала, икота к ней и причепилась.

Три дни хозяйка икала, а когда хозяин из странствия возвратился, то ка-ак врезал заговором! Икота, крысиным хвостом-узлом, еле уползла.

— Ой-ёй! Не фырчи, а вой! — Фырка наморщила нос-пяточок, не захотела прислушаться.

Лишь слегка обеспокоилась. А назавтра, ровно в полдень, — в это время, как и в полночь, черти особенно опасны, — в ворота громко ударили. Не в калитку, а именно в ворота. Медовая подняла голову от монитора, но осталась на веранде. Однако, ударили ещё раз, словно подтверждая — да — принесла нелёгкая. Медовая пошла посмотреть.

Он стоял стройный, покачиваясь будто тростник от ветра, а потому казался лёгким. Мужчина с золотыми глазами и цвета пепла волосами. Он не улыбнулся приветливо, а рука двигалась, словно замедленный видеосъемкой рывок лапы леопарда.

— Здравствуйте, — голос мужчины звучал тихо, зато чудилось будто звучит он отовсюду. Обволакивает. И вместе со звуком на женщину обрушились запахи. Огня и дыма. Быстрой холодной реки и лязгающего чрева машинного отделения парохода. Мыльной пены и острой опасной бритвы по утрам. Высокой потёртой луки кожаного седла и оружейной смазки.

Ветер! Это ветер летел из снегов, рвался вниз,

по скалам и поднимался из знойных песков, накрывших сырую землю. У Медовой ослабли ноги. А Фырка влюбилась сразу.

Медовая молчала, возможно, для слов и не хватало вдоха, потому златоглазый набрал в лёгкие пьянящего воздуха сада и выдохнул: «Жажда убивает меня... В твоём саду колодец... Живая вода...». Вместе со словами выдохнул и последние силы, лишился их, упав в ноги женщины. Его левый кулак, тот, которым он не бил в ворота, разжался и с ладони на железную решётку дорожки, сверкая, посыпались драгоценные камни. «Вот те нафиг!» — от удивления и напряжения Фырка стала видимой. Медовая сильно вздрогнула, провела рукой — от запястья до локтя, — по опустившимся векам очей. «Господи, оборони!» — осипшим голосом крикнула она и склонилась над незванным гостем.

«Ишь, сильная-то какая!» — удивилась Фырка, наблюдая за тем, как женщина тащит пепельноволосого от ворот к дому. Чертовка помочь не решилась. Хотя и конечно, Медовой помогал, пыхтя и кряхтя, анчутка да какие-то мышшки-норушки, птички-синички и букашечки в цветастых рубашечках. Из такой помощи уже можно было сделать выводы, но Фырка к этому не стремилась. А женщина действительно была сильна, что было трудно предположить, видя её

черкающей бумажные листы, или полуодето скользящей по дому и саду. Фырка, пока все заняты, подобралась к лалам поближе. И моментально отшатнулась, испугалась и взлетела на ветку яблоньки-китайки.

Драгоценные камни пылали белым калением. Медовая, в отличии от чертовки, не могла видеть ни анчутку, ни мышек-норушек, ни птичек-синичек, не говоря уже о букашечках. И тем паче, не могла она видеть Сестричек-привычек. А они опустились двумя облачками, золотистым и серебристым, величиной с настольное зеркало каждое.

Вот тут я вынужден дать второе пояснение. Мрачный ковырятель коросты на человеческой душе, Фёдор Достоевский, утверждал, что в России нет веры, одни суеверия, и надо признать — во многом был прав. Читатель может держаться другого мнения, но это его дело, а я лишь подсказал.

Фырка не могла не понимать под чьей защитой находится пепельноволосый, но оцепенела и стала такой незаметной, что не видела собственного хвоста. Медовая же не видела Сестричек, но слышала их разговор.

— Он обессилил, — сказала привычка золотистая.

— Его поборол сон, — уточнила серебристая.

«Наверное, я говорю сама с собой, — решила Медовая. — Дыхание ровное, а пульс едва бьётся, а рука жаркая!»

— Что же делать-то? — спросила она вслух.

— Дай ему живой воды, — предложила золотистая Сестричка.

— Лекаря найди! — посоветовала привычка серебристая.

Медовая побежала в сад, пытаясь собрать мысли. «Живой воды он просил! Колодец! Но у нас нет колодца... У нас скважина и насос. Да! Врача же надо!».

Фырка вся ушла в кисточку собственного хвостика, стала тише шерстинок, даже тише грохота, когда шерстинки растут на нём, то есть, на хвосте, потому как серебристая привычка, воскликнув — «я сама», промчалась в двух локтях от чертовки.

— Чегой-ты ворота нараспашку? — у входа во двор стоял горбатый старик в когда-то изумрудного цвета бухарском халате, прошитом золотистой нитью. На узком вытянутом лице часто-часто моргали пречёрные глаза, а правую сторону спины занимал явственный горб. На левой же лежала плетёная коса из седых волос, спрятанных за багровой, с чёрной каймой девятиклинной шапочкой. Левая рука сухой кистью опиралась на волнистый посох, вернее, на

набалдашник в виде синего глобуса. Правая рука пряталась в тёмной варежке, с едва различимым тёмным же узором, и держала белый чемоданчик с красным крестом на крышке.

— Тебя, тебя! — ответили
Сестрички-привычки.

— Вы кто? — растеряно, даже ошалело, спросила Медовая и выронила телефон.

— Гыолог, — вдохнув, сообщил старик. — Бывший деревниш партии бекташей.

— Кто-кто? — спросила женщина, окончательно устала и села на траву.

— Сама накарябает на своих листках, потома-ко изумляется, — вновь вздохнул горбун и присел на корточки. — Драгоценными камнями дорожки посыпаете? Вместо гравия?

Медовая уснула на траве, старик же принялся собирать алмазы, изумруды и рубины в парчовый мешочек, висевший на его искривленной шее.

— Кому вода нужна? — затянув шнурок, спросил он Сестричек.

— Хранителю пятьдесят восьмой границы, — ответили привычки.

— Ага, — согласился горбун, достал из кармана халата корешок с ноготок и дал понюхать уснувшей женщине. Медовая чихнула и проснулась.

— Угу, крепок табачок, — прокряхтел старик. — Вставай, сад показывай.

— Но как же... вы ведь лекарь? — Медовая смотрела на чемоданчик.

— Гыолог, говорил уже, — горбун направился в глубину сада.

Русский язык недаром прямой потомок языка первой расы. Стоит юродивому сделать лишь маленький шажок и он уже... уродивый. Пропустит блаженный всего лишь миг — и он уже блажной, почитай, что кликуша. Кому, как не Медовой знать эту тонкую грань слова и словца. Зверь бежит ведь на ловца...

Увидев старика в бухарском халате, банный анчутка кинулся в парную, заметался вдоль и поперёк её, будто веник в опытных руках банщика, наконец, успокоился и принялся наблюдать из прорези-отдушины. Назвавшийся деревнишем, открыл чемоданчик, достал оттуда люльку, раскрошил в ладони три корешка — каждый с ноготок, набил трубку и прикурил через треснутую выпуклую линзу от солнечного луча. Убрал линзу в чемоданчик, пожевал губами, пустил клуб дыма, в точности повторившим очертания Сестричек-привычек, только сизого оттенка и уже тогда спросил анчутку, зорко, совсем не по-стариковски вглядываясь в стену баньки:

— Напрыгался?

— Дык... мык... брык..., — забормотал банник, но справился с лихотанным наговором и доверительно доложил: — Как есть спокоен.

— Я и сам могу найти, но шустрее будет, коли ты мне покажешь.

— А чегой-то показать? — было похоже, что банник придушивается. Фырке, хотя и маскировалась кисточкой, захотелось крикнуть — «голую задницу!» — но природная сдержанность взяла верх и она промолчала. Горбун же вздохнул и взялся разводить руки в стороны, однако анчутка уже одумался. — Никак водопровод ищите?

— Водопровод? — Медовая упорно продолжала слышать неизвестно откуда берущиеся звуки и слова. — Водопровод у нас в доме от одного насоса, а в саду и в бане — от другого.

— Водопровод не нужен, — не резко, а как-то даже и участливо откликнулся горбун.

— Был-был колодец, был, — зачастил анчутка. — Мне батюшка мой говаривал, што завалило его, забутило синим камнем. А камень-то, раз, под землю-то и ушёл. А иде точно, я не знаю.

— Ага, имеется водица-то, — старик обрадовался. — Я её найду. А ты пойдн в дом, женщина. Послушай, может хранитель чего и скажет.

Медовая послушалась и ушла в дом, отметив про себя, что горбатый старик легко переходит с

фольклорного говора на довольно правильный и грамотный выговор. Остальные, оставшиеся в саду, кто прячась, а кто и выпячиваясь, принялись наблюдать, как гыолог будет искать живую воду.

А он не спешил. Убрал в чемоданчик люльку, из него же достал комок серебра, размял его пальцами, словно глину и положил получившуюся пластинку под плоскую шапочку. И принялся прохаживаться по саду. Молча, полузакрыв пречёрные глаза. Какое-то время ничего не происходило, ходил и ходил, и вдруг... горб на спине старика начал перемещаться! Медленно пополз влево. И чего вроде уж ей-то удивляться, но Фырка вытаращила глазки, да и вообще, выскочила из кисточки хвоста. Старик укорачивал шаг, пока не начал семенить, а горб всё полз и, наконец, седая коса уже лежала на нём. А затем изогнулась, перемахнула через плечо и образовала острый угол с вогнутой грудью горбуна. Старик широко распахнул свои пречёрные глаза, посмотрел, куда указывает кончик косы и громко произнёс: «Здесь!»

— Тебе обязательно покурить?! — недоумевала привычка серебристая.

— Не тяни чёрта за хвост! — возмутились сестричка золотистая. Фырка на всякий случай свой хвостик спрятала. За ветку. А сама — за яблоню.

Деревниш ничего не ответил, он сосал пустой

мундштук, неизвестно откуда попавший в длинные зубы, покрытые табачным налётом. Старик был сосредоточен. Старик? Фырка не отводила от него взгляда. И правильно делала. Чертовке, даже чертовке, такого видеть ещё не доводилось.

Первыми обернулись седые волосы горбуна. Коса исчезла, а серебро седины перетекло в золото кудрей, тубетейка-шапочка же исчезла. Распрямились грудь и спина, и пропал горб. Лицо стало медным и непроницаемым. Огромный богатырь в пластинчатых сверкающих доспехах стоял под грушей. Рука в железной рукавице коснулась чемоданчика, но глядь, а это уже не чемоданчик, но кованный медью сундучок с процветшим вилообразным крестом на крышке. И посох — уже не посох. Двуручный меч с широченным лезвием и с рукояткой-вороном. Богатырь коротко крикнул трубным гласом и вонзил переливчатую булатную сталь в землю. По самую тулю! Лязгнуло и заскрежетало. Земля исторгла, изрыгла синий камень, да так, что Фырка едва увернулась! Раздался звенящий шорох, и из шурфа ударила невеликая струя. Отвлекла внимание от витязя и несколько мгновений на него никто не смотрел.

— Женщина! — Громко закричал старик-горбун, утирая мокрое лицо рукавом халата. — Неси кувшин!

Медовая выскочила из дома и Фырка подумала, что женщина обязательно споткнётся о синий камень, но тот мелькнул ветхим надгробием и рассыпался прахом.

Она бежала за живой водой, которая убьёт её прежнюю любовь. Медовая сама писала книги и знала, что слова, поражающие воображение, всегда приходят предчувствием. Чужие слова, тоже. Слова бились в её памяти, давно прочитанные слова Пера Лагерквиста в жутко-роскошном «Карлике»: «Любовь смертна. И когда она умирает, то начинает разлагаться, и гнить, и может образовать почву для новой любви. Мёртвая любовь живёт тогда своей невидимой жизнью в живой, и, в сущности, у любви нет смерти».

У любви нет, а у людей — есть.

Фырка смотрела на струю воды, стекавшую по щеке пепельноволосого, и кошачьи зрачки её глаз сужало ревностью, рождением опередившей страсть. Золотые глаза мужчины закрыты веками, кто знает, может и веками, — время не всем одинаково... Так, с закрытыми глазами, он и заговорил.

Пора! Настала пора седлать
Мохнатых якутских коней.

Пора. Настала пора доставать
Алмазов якутских из-под земель.
Алмазы горстями насыпать пора
Овсом и зерном для еленьих коней.
Вспомнить! Вспомнить пришла пора,
Что кони всегда быстрее камней!

Медовая застыла каменным изваянием. Фырка
— колеблющимся миражом.

Ветер с востока мчал вчера,
А с неба камень — осколок звёзд.
Сбора камней настала пора
И способ его совсем не прост.
Бьёт копытом мохнатый конь
В синеватый якутский наст,
Там грудой лежат алмазы с ладонь,
Земля своих никогда не предаст!

Фырка выглянула в опустевший сад. Пустое
небо, ни облачка. Ни золотого, ни серебряного...

Земля поможет, земля спасёт,
Даже, если она мать-сыра.
Мохнатый конь седока несёт —
Пора, настала пора!
Способ не прост, способ хитёр,
Ведь надо сойти с коня

И хлынет в тебя блеска напор,
И алчность пожрёт тебя!

Мужчина открыл золотые глаза. Женщина подалась к нему, склонилась. А Фырка спряталась за полуоткрытой ставней.

Камень алмаз, он же, камень-горюч,
Камень — души замок.
Свободой вопрос — заветный ключ,
Какой в алмазах прок?

Пора! Пора вернуться к коням
И крепко держаться в седле.
И мчаться, коня за шею обняв,
А камни алмазы оставить земле.

Исчез старик-горбун. А на воротах в сад, повторяя порядковый номер, алмазной пылью горела цифра 57.

Тёплая земля ткала воздух, отправляя ввысь, где холодное небо раскрашивало его синевой. Две тучи, чёрными очками, спрятали солнце. Фырка, прислушивающаяся к фырканию автомобиля на улице, вздрогнула и с тоской посмотрела на анчутку. Да-а... Фырка была слишком юна, чтобы понимать, что события развивались слишком

быстро.

Медовая положила ладонь на твёрдую грудь пепельноволосого, а он накрыл своей её тонкие пальцы. И так они молчали и смотрели друг другу в глаза, смотрели, забыв о времени, и золотой пунктир сливался, образуя всё более прочную нить, ту самую жилу сердца, которую искали колбяги-алхимики, и прочнее которой нет ничего на свете. А уже густел вечер, густел тихим звоном уходящих солнечных лучей, громынул железом автомобиль, и в сад вошёл мужчина. Хозяин.

— Она не ждёт тебя! — крикнула ему в спину Фырка. — Совсем не ждёт!

— Я не ждала тебя, — встретила мужа Медовая.

Ай-яй, это старая-престарая история. Когда маленькая девочка уходит в загадочный и такой на вид незлой лес. Девочка упрямая и не хочет проверенной судьбы, к которой ведёт истоптанная дорожка. Не хочет девочка вот этого: малышка поит из ложечки куклу, женщина — мужчину, старуха — больного старика. А девочка хочет сказки. А в доме так шумно! И одиночество становится мечтой. Сказкой. Но вот странность, — чем дальше девочка уходила в лес, тем гуще лес становился, и всё теснее жались к ней деревья, вначале тонкие, а затем уже и кряжи. И получалось, что мечта — это встретить среди каменеющих

столбов живую человеческую душу. Свою сказку.

— Я не ждала тебя, — сказала мужу Медовая.

«Она повторяет, или у меня глюки?» — думал муж, не отводя взора от пепельноволосого. Острое жало пружинистой стали уже лизнуло его по пояснице, и жгучая боль устремилась к груди, и закружила-закружила, улучая миг для решающего удара. В сердце, прямо в сердце!

О, эта извечная спутница любви, неразделённой любви, брошенной в одиночестве любви, — смерть. Она является маленькой точкой, коли смотреть ей в лицо, и тонкой, очень тонкой иглой, если извернуться и выхватить взором сбоку. Является тогда, когда любящий понимает, что любовь его уже одинока. А может, она одинока изначально... И в тот миг, когда приходит это понимание, смерть любви начинает расти и расти, пока из иглы не превращается в копьё со страшным рубящим наконечником. Наконец концов! Наконец-то наконечник готов разрубить одинокую грудь и изранить то, за чем она и пришла, вечная спутница любви, её смерть. А раны от копья глубоки! И израненная душа прощается с любовью. Два пути у одинокой души: остаться жить без любви, в незаживающих рубцах, или уйти, захватив своего палача. Умереть.

Мужчина, муж и хозяин сада, стоял и смотрел пустыми очами, а округ — пустота.

Пепельноволосый прикрыл золотые глаза, Медовая же встала между мужем и путником, заслоняя собой лежащего. Тишина. И в ней-то Фырка услышала слабый отзвук скрежета, да, чертовка знала — так звучат шаги бсов, демонов убийства. Она испугалась. Ой, как она испугалась! Не за себя. За хранителя 58-ой грани.

— Я возьму кое-что необходимое, — сказал чужим голосом мужчина, голосом уже смертельно раненой души. Женщина ничего не ответила, словно и не слышала своего мужа. Она опять склонилась над пепельноволосым. Она беспокоилась о нём.

Юрий Маркович зашагал деревянными ногами по деревянным плахам пола, туда, в дальний чулан. А скрежет нарастал! Уже и лязгнуло. И Фырка помчалась за мужчиной.

Он держал в руках вековой образ русского отчаяния. Обрез. Деревянными пальцами вгонял смерть любви в оба ствола. «Для неё и хранителя!? Для хранителя и себя?!» — Фырка пыталась поймать волну, бьющую из мужчины, пытаюсь прочесть его чувства. И по всему получалось, что угроза нависла над златооком. Плохо! И Фырка собрала всё своё умение, использовала весь дар-способности. «Прощайся с рекой! Вначале прощайся с рекой!» — яростно зашептала она в затылок хозяина сада. И угадала! И заставила!

Словно вспомнив нечто неимоверно важное, мужчина шагнул в заднюю дверь дома, быстро прошёл к забору в глубине сада, за баньку и, открыв низенькую скрытую калитку, побежал вниз к небольшой извивающейся речушке. Фырка за ним!

Юрча сидел на корточках над водой, положив обрез на колени. Одна рука придерживала укороченное ружьё, вторую ладонь он опустил в серую воду. Фырка... Она так боялась за златоокого. «И потом, — решила Фырка, — он ведь хочет застрелиться, ну и пусть застрелится, но прежде не успеет убить хранителя!» И вскрикнула за спиной мужчины ребёнком, кричащим от боли. Юрий Маркович вздрогнул, пальцы рук произвольно сжались, одной руки поймали воду, другой — курки. Два заряда разорвали ещё живую плоть груди, уже мертвеющее сердце.

— Ты чиво мимо бежишь? Али беда случилась? — анчутка загородил дорогу Фырке.

— Беда... Беда? — чертовкина курносость стала вдруг меньше. — Беды никакой нет.

— Врёшь! — неожиданно завопил банник. Щёки его набрякли. — Врёшь!

— Не фыркай, а то я те фыркну! — огрызнулась Фырка.

Анчутка не посторонился и не попятился, но закрыл глаза и принялся шептать заговор. Чертовка

горько усмехнулась. Она отогнала панику, оставив себе тревожное ожидание. И подождав, когда банник отбубнит, Фырка попросила: «Отойди. Я за себя не ручаюсь».

И в тот же миг полыхнуло! Ярко до рези в очах. Когда они примчались к воротам, пятьдесят седьмая алмазная пыль стекала чёрным графитом на землю, оставляя тёс измазанным сажей. И лужица на гальке шипела кислотой.

— Вот вам и пятьдесят восьмая грань! — из пустоты раздался голос деревниша. Фырке и анчутке даже помстилось, что в щелях забора мелькнула горбатая спина.

2

Медовая хоронила мужа скорбно, но без слёз. Прокурорский закрыл дело быстро, явное самоубийство, чего там расследовать... А пепельноволосый сразу же был перенесён в соседний дом за номером 59, к одинокой старухе, подруге Медовой, по фамилии всеми забытой, но многими посельчанами считавшейся злой и мстительной. Одни, за глаза, называли старуху Вронской. Другие, в спину, — Вороной. Медовая же называла старуху по имени-отчеству, Марья Михална.

Медовая приходила к соседке и тогда

плакала-горевала, глядя на златоокого, который продолжал лежать полуживым. Это было жестоким и нечестным по отношению к прошлой жизни, но такая она и есть любовь, замешанная на страсти, в которой всегда живёт смерть, иногда предваряя любовную страсть, а бывает и, завершая страстную любовь. Приходила Медовая один раз в день. А вот Фырка там поселилась. Поначалу она проникала через чердачное окно и даже через печную трубу, но, обнаружив слуховое окошечко над ротондой, выбрала этот путь. А ещё Фырка, обернувшись чернохвостой алтайской белкой, носилась по деревьям, обрушиваясь на ветки всем своим гневом, ломая яростью многие из них.

Ярость понимания, что придётся ответить.

Фырку томило предчувствие, тревога недогляда. Ведь не чертовскую шалость она совершила у речки. Это у людей милицейские и полицейские виновных не нашли, а среди нечистой силы — свои следопыточники. И они лишь ждут указки на Фырку. А кто может указать? Известно кто, — ведьма. Или того хуже, ведьмак. Речной холодок холодил грудь и тянул туда, к реке, где полыхнул обрез. И Фырка решилась.

До пробуждения светила, она тихо-медленно скользила вдоль и поперёк воды. Все вокруг спят, только на краю посёлка, чертовка это слышит, заезжий молодец уламывает пухлозадую девицу

надкусить сладкого яблочка в заброшенном саду. Никого нет на реке, это-то и плохо. Как учил Свирид, коли ждёшь да встретишь, придёт тот, кого не ждали и знать не хотели.

— Люди — они, конечно, наблюдательны, — говорил Свирид, — но всегда выдумывают пояснения, они же — бесполезные заклинания, и сами в них верят, надеются, что это им поможет.

— К примеру? — спрашивала Фырка, почёсывая роговицы на макушке.

— Например, люди часто повторяют, толкуя об опчестве, в котором проживают да об своём начальстве, дескать, рыба гниёт с головы, — Свирид покхэкал со значением, что означало всезнающий смех и продолжил: — А ведь понятно и самому последнему запечному, што рыба, как и всякая жрущая тварь, гниёт с брюха, с требухи.

Ай, верно говорил Свирид! Фырка собралась вспомнить ещё какие-нибудь наставления опекуна, но на врезающейся в воду косе примялась трава, лунный столп качнулся, а в реке заплескалось. Раз, и на бережку какой-то блондин в полувоенной одежде, почти в форме. Два, — а из речки на берег лезет недоросточек с пёстрыми волосами и щучьей мордочкой.

— Что имеешь доложить? — внятно и очень строго спросил блондин.

— Информацию, господин Грамотей, —

подобострастно пробулькала водяной и пустил по воде очередь пузырей, от большого до малого. — О переступлении черты залётной чертовкой.

Фырка затаилась до тоньщины осоки. «Сам Недоучка! Вот и послед... следствие!»

— Всего лишь? — поморщился блондин, поправляя клапан кармана на френче.

— А вы послушайте! — недоросточек зашевелил пёстрыми волосами, вытянул до невозможной вытянутости щучью пасть и зашептал Грамотею в ухо. Тот, хотя и морщился пренебрежительно, слушал сосредоточено, лишь трижды вмешавшись в шёпотный доклад, но не прерывая водяного. В первый раз Недоучка сказал «ага», во второй воскликнул «подстрекательство!», в третий, заключил — «понятно...»

Фырке тоже стало понятно. Едва слышно, стрекозой — стрекозой, на бреющем полёте, чуть ли не касаясь травы и огибая репей, она убралась от реки подальше. «Надо подумать, — думала Фырка. — Надо подумать».

Чуткая барабанная перепонка Грамотея уловила чужую тревожность. Он закрыл ухо ладонью. Его можно оставить в размышлении, но... Опять требуются пояснения.

Грамотей Недоучка, — как же его когда-то звали? А-а, неважно! Родился человеком, и пришло

время, нарядился гимназистом. И ходил в свою гимназию, огибая старое кладбище и новую водонапорную башню, двигаясь наискосок через Владимирку, мимо шляпной мастерской, в которой ничего кроме картузов и фуражек отродясь не шили. Вот это-та мастерская, над входом в коею вензелилась надпись «Салон», и сбила гимназиста с проторенного пути классических познаний на извилистую дорожку проклятий и заклятий.

А ведь и день-то тогда случился не совсем обычный. Бакенбардовый гимназический наставник послал первого попавшегося ему под руку недоросля с поручением. В Армянский переулок. Поручением был увесистый свёрток из грубой фабричной бумаги, а для найма извозчика недорослю была вручена целая полтина, пятьдесят копеек серебром. «Ха!» — сказал сам себе гимназист, выйдя из учебного корпуса, и договорился с развозчиком картузов, что тот поедет на Бульвар через Маросейку, а за крюк получит двугривенный. Двадцать копеек гимназист подготовил своих собственных, радуясь навару, ибо рос в семье не шибко состоятельной, а коляска бежала весело, под кряхтенье рессор и анекдотцы развозчика о кружевных женских панталонах, анекдотцы, которые тот выдавал за собственные наблюдения из ночной городской жизни. Такие разговоры настроили гимназиста на

фривольно-мечтательный лад и, спрыгнув у пекарни на углу, он, подскакивая козликом, направился по заданному адресу, романтично разглядывая барышень и душно-фантазийно, строгих мадамов. Уже в переулке он посторонился с мостовой, опасаясь лакированного экипажа, который остановился у того адреса, куда и направлялся гимназист. А из экипажа на тротуар шагнула обладательница такой лебяжьей шеи, что — ах! жизнь разделилась на «до» и «после».

За парадной дверью, приветливо и широко распахнутой привратником перед дамой, и служебно скучно перед посыльным-гимназистом, оказался холл, уходящий в массивные двери с бронзовыми табличками на них. «Так это контора», — понял недоросль.

— Вам сюда, — сказал, оглядев мельком свёрток, бородатый «эспаньолкой» привратник и ткнул коротким указательным пальцем в перезрелой вишни цвета дверь с табличкой «оценка». — Но придётся подождать, там посетитель, — и ткнул указательным пальцем другой руки в венский стул у стены.

Гимназист почему-то догадался, что посетитель — это та самая дама с лебяжьей шеей. Он сел на стул, тут же показавшимся неудобным. Повертевшись и поёрзав, недоросль понял, что причина неудобства вовсе не в сиденье стула, а в

нѣм самом, в сидящем на стуле. И даже не одно — беспокойств образовалось два: свѣрток на коленях и «лебяжья шея» за дверью.

— А..., — собрался задать бессмысленный вопрос привратнику гимназист, но тот куда-то пропал.

— Вы что-то спросили? — из полуоткрывшейся двери с надписью «оценка» выглянул конторский необычного вида. Конторского на нѣм был мундир, немного схожий с формой гимназиста, однако и всё же, больше похожий на форму дворника из богатого околотка, только без фартука, да гладко выбритые щѣки. Глаза же и руки получились совсем уж не конторские. Глаза — горячие, руки — холодные.

Гимназист почувствовал их лёд на локте, сквозь сюртучок, — это конторский обхватил его руку длинными пальцами. Жар от взгляда проник недорослю под и за веки, и слѣзы сами потекли к уголкам губ, цепляясь за пушок усиков.

— А-а-я..., — замычал гимназист, перейдя от первой буквы алфавита сразу к последней.

— Я долго буду ждать?! — требовательно и громко, но никак не капризно прозвучал женский голос, а дверь распахнулась настежь и «лебяжья шея» воззрилась на конторского. Недоросль мог поклясться, что увидел, как дама поддала конторскому коленом, ибо тот слегка подпрыгнул, а

гимназист обнаружил в просвете распахнувшейся тёмно-зелёной узкой юбки ажурный чулок и смуглую полосу обнажившейся ляжки.

— Сей момент, госпожа Берстенёва! — поспешил заверить даму конторский. — Сей момент прибудет посыльный, мне уже телефонировали.

— А может посыльный — этот молодой кавалер? — подняла бровь, похожую на соболью, Лебязья Шея, вторую — горностаевую, оставив на месте.

— Вы сударь, от шляпного салона? — обратился к гимназисту конторский. Недоросль кивнул.

— Посылочка?! — конторский показал подбородком с ямкой на свёрток.

— Да, — отчего-то сипло ответил гимназист и протянул свёрток, который сразу же упал и раскрылся.

— Ах! — воскликнула дама.

— Чёрт! — взвизгнул конторский. Зрачки его стали холодными, а ладони покрылись испариной. На мозаичном полу лежали чёрные камни, похожие на древний уголь кокс, а на них плавно опускались необычные золотистые перья птицы.

— Нас вновь надули, или я чего-то не знаю, господин Ларискин? — Берстенёва впилась взором в конторского. «Ведьма!» — вдруг решил

гимназист. Мало того, и также вдруг, он проявил недюжинное знание, превышающее любую интуицию, возопив: — Птица Феникс! Она сгорела!

— Грамотей, — криво усмехнулся конторский.

— Недоучка, — нежно добавила Лебяжья Шея.

Так блондин, которого испугалась Фырка у реки, получил своё имя. Знаменитое, в некоторых кругах, имя. Она вспомнила и должность Грамотея Недоучки. Судейный Приставала.

«Лишь блудливая баба загодя вожжей не чует». Смысл этой поговорки гимназист понял позже. Когда основательно узнал госпожу Берстенёву. А уж он узнал... И женскую плоть, и жизнь в ожидании новой встречи с этой плотью. Жизнь модную, мистическую. Лебяжья Шея всё это называла коротко — «муар». Почему так, не объясняла.

Жизнь же вокруг никакому муару не соответствовала. В далёкой Мангурии шла война, и гимназист, в общем-то, домашний мальчик с удивлением наблюдал, как его одноклассники, тоже в большинстве своём домашние мальчики, окунались во взрослую жизнь, совсем не в такую, с которой познакомился он. В жизни одноклассников зашуршали листовки, зазвучали «марсельезы», а потом и баррикады взялись перегораживать улицы

старой столицы. А зимой уже и хоронили первого одноклассника, убитого в уличных боях. Гимназист побывал на кладбище, но смотрел на похороны другими глазами. Отстранённым взглядом.

Ведь Грамотей тогда угадал, в посылке действительно находилось то, что осталось от птицы Феникс. А, кроме того, Недоучка горел страстью к госпоже Берстенёвой, рискуя превратиться в такие же уголья, что выпали из посылочного свёртка. Подход к сокровенностям Лебяжьей Шеи имел три ступеньки. Первой подвернулась швея из шляпного салона, шьющего картузы, — вертлявая девица с бойкими глазками. Соитие случилось пыхтящим и скучным. И в первый, и во второй, и в третий разы. Потому гимназист споро шагнул на вторую ступеньку, заведя интригу с тётушкой приятеля-одноклассника, молодой и строгой, даже чопорной дамой, супругой заседателя какой-то важной комиссии. Что-то уже заложила Берстенёва в натуру гимназиста Грамотея и чопорная, совсем не глупая дама не устояла перед юнцом. Но Грамотею было хотя и забавно, однако скучно. Помыкавшись и намыкавшись с месяц, гимназист отстранился от дамы, объяснив такое поведение муками совести и стыдом перед супругом строгой тётушки одноклассника, достойным чиновником. И вот, третья. Гостившая в московском доме подруги

по Смольному институту петербурженка, с небольшими, но страстными глазами. Гимназист познакомился с ней на поэтическом вечере в особнячке больших любителей поэзии. Смолянка обожала не только стихи, но и всё мистическое, а уж этого гимназист теперь мог предоставить сполна, и как раз революционной и святочной зимой барышня отдала ему всё. Так поэтично называла она девственность. И с этой-то тоской пиршества плоти Грамотею было совсем непросто развязаться — узелок наоборот затягивался и затянулся до беременности гимназистки.

— Отчего мой страстный любовник грустен, как Пьеро? — Лебяжья Шея пресыщено втирала в сосцы молодое семя. Она лежала высоко на подушках, широко и лениво раскинув согнутые в коленях ноги, и следила за Грамотеем из-под полуопущенных ресниц. Обнажённый вьюнош курил папироску у окна, и курил несколько нервно.

— Дурацкая какая-то ситуация, — Грамотей вмял окурок в фарфор. — Дура-институтка забеременела.

— Зачем? — удивилась Берстенёва. — Неужто родить от любимого хочет?

— Так бывает? — Грамотей удивился куда больше Берстенёвой, такого оборота он не предполагал.

— Ах, Грамочка..., — Лебяжья Шея

потрепала юношу по мешочкам с семечками. — Лишь блудливая баба, такая, как я, загодя вожжей не чует. Остальные, либо сразу к своей заднице их примеривают, либо на мужичков накидывают. Твоя бурсачка из каких?

— Не знаю, — быстро ответил Грамотей и сия быстрота сказала, что он-то, как раз знает. Но Берстенёва почему-то не обратила внимания на скорость ответа. Она оставила грудь в покое, задрала ноги повыше, поболтала ими и предложила: — Отрави её и делу конец.

— Как?! — воскликнул гимназист, выказывая возбуждения больше, чем возмущения.

— Ядом, — в данный момент Лебяжья Шея всё понимала и объясняла буквально.

Однако углубиться в обсуждение фармакологических особенностей такого предложения у любовников не получилось, ибо настойчиво задребезжал колокольчик парадного входа. Служанка с профессиональным именем Чистюля загремела засовом, и вслед за лязганьем из прихожей комнаты донеслось старческое покашливание. Худое лицо служанки просунулось в дверь будуара и тонкие бескровные губы объявили: «Пришёл».

— Пускай войдёт, — скомандовала Берстенёва, а гимназисту показала: — Прикрой срамоту-то. — Сама же так и осталась лежать,

раздвинув ноги в сторону двери.

— Мышеловка нараспашку..., — проворчал вошедший старик. Вид его был весьма необычен. Горбун в восточном халате с седыми волосами, заплетёнными в косу. — Разврат сплошной.

— Да ну тебя, деревниш! — засмеялась Лебяжья Шея. — Я позабавить тебя хотела. Порадовать.

— Невелика радость, — буркнул горбун и, мельком глянув на гимназиста, завернувшегося в плед, прошёл в угол и сел в невысокое кресло.

— Невелика, — согласилась Берстенёва, но явно вкладывая в слово иное понимание. — Тем и беру. Мужеский пол очень уж малость да узость ценят.

— Тьфу, — сказал горбун, опёрся ладонями на изогнутый посох и уставился взором в узоры хиванского ковра, закрывшего пол.

— Не ворчи, — Бертенёва уже на ногах, в сером с золотистой искрой платье со шлейфом и в шляпке с золотым пером. — Глаза-то подними.

Горбун посмотрел на даму пречёрными глазами, таких Грамотей ещё не видел, оставил левую, похоже суховатую кисть руки, на набалдашнике, а правой снял клиновидную багровую, с чёрной каймой шапочку и утёр ей своё узкое вытянутое лицо.

— Неужто и уголья есть? — спросил он тихо,

будто боясь спугнуть удачу. — Гонец передал, што ты виды на сделку имеешь.

— Есть. И имею, — тоже тихим голосом ответила Берстенёва.

— Ага, — удовлетворённо крикнул деревниш и снял ладонь с набалдашника посоха. Пронзительный свет побежал от синего глобуса, и гимназисту показалось, что в этом свете лицо Берстенёвой на мгновение стало необычайно уродливым, а шея вся переплелась страшными жилами. Но только мгновение и синий свет растаял. А горбун спросил: — Продаёшь или меняешь?

— Меняю, — сдавлено, словно затаив дыхание, произнесла Лебяжья Шея. — На две родных половинки серого сапфира.

— Всё колдуешь... — дребезжаще хихикнул старик. — Всё пятьдесят восьмую грань ищешь?

— Ищу.

— А перья? — спросил деревниш, а в руках его белый шёлковый кошель с узорчатым красным полумесяцем.

— Перья не меняю, они мне к лицу — очень причёску украшают, — усмехнулась колдунья.

— Что за пятьдесят восьмая грань такая? — спросил гимназист, но ответом его никто не удосужил, а и странно не знать, что бриллиант имеет пятьдесят семь граней.

Что происходило далее осталось в памяти

Грамотея фантасмагорической картиной. Ковёр превратился в зелёное сукно канцелярского стола, но расчерченное мелом на геометрические фигуры, числа и знаки. «Игорный стол», — понял гимназист. Берстенёва опустила на колени, у колен — раскрытый свёрток с антрацитовыми камнями. Деревниш присел на корточки и метнул в середину сукна самоцветную пуговицу с тремя отверстиями для нитей, золотые обрывки которых ещё торчали. Пуговица упала на пустое место, чистое от меловых линий, чисел и знаков. «Замётано!!» — чужим голосом закричала Берстенёва. Она подпихнула свёрток горбуну, а тот достал из кошелья два невзрачных камешка и положил их перед колдуньей. Дрожащими пальцами Берстенёва соединила сапфиры и они слились в один, словно капли ртути. И как он засверкал! Чело Лебяжьей Шеи текло его отсветом.

— Сделка честная? — спросил горбун.

— Честная! — от восторга обладания сапфиром колдунья утратила бдительность.

— Тогда я имею право наградить крупье! — вскричал деревниш и вжал в ладонь Грамотея фишку-пуговицу.

— Стой! — взвизгнула Берстенёва, но было поздно, кулак гимназиста сжал награду. А старик исчез! Вместе со свёртком. Только ниточка синего света таяла у двери.

— Отдай! — отчаянно закричала колдунья и ладонями, с которых опали сгнившие ногти, потянулась к гимназисту.

— Нельзя. Не положено. Не по чину. — Спокойно сообщила Чистюля. Она встала между Грамотеем и Берстенёвой. Когда и как возникла худосочная служанка, гимназист не заметил.

— Без того, кто принёс останки всегда возрождающейся птицы Феникс, сделка бы не состоялась. Он — необходимый свидетель и его награда по праву, — твёрдо произнесла Чистюля, беря Грамотея за руку. — Я выведу тебя.

— Лазутчица! Скормлю тебя крысам! — вопила колдунья, но не двигалась с места, только меняла личины, среди которых шакаля была одной из самых приятных. Чистюля тащила вон отсюда оцепеневшего гимназиста, который и не вспомнил об одежде, так в плеле и оказался на улице, где их уже ждала пролётка.

— Их-хи-йя! — свистнул-гикнул кучер, заросший чёрной до земли бородой по уши и глаза, и, грохоча по булыжникам пролётка унесла их прочь.

Прочью оказалась ведьмачья жизнь. Вот он-то, заматеревший сотней лет, шёл по следу Фырки.

Но разве он один? Воздух скрежетал

предчувствием появления бсов. Опять же и люди не остались в стороне. И родственник Юрия Марковича, неудовлетворённый наследством, обратился к приятелю, о наследстве не заикаясь, но объясняя всё одной лишь родственной любовью, а приятель, помявшись смущённо, попросил помощи у специалиста. Специалист открыл ноутбук, выудил сведения о посёлке и о Медовой, затем сделал пару звонков посредством смартфона и к удивлению приятеля родственника Юрия Марковича согласился.

Германский вагон, то есть, немецкое авто затормозило у крытого колодца и навстречу фольклорной женщине из советского кино середины XX века шагнул Ястреб Апричин. Коромысло отсутствовало на покатых борцовских плечах бабы, воду она несла в руках, понятно, упакованную в вёдра.

— С вечера в рукомойку налила, а утром-то глядь, оно и пустое! — Восторженно сообщила баба, колыхнув животом, заползшим на растёкшуюся грудь. Апричин вдумчиво поддержал разговор: — Бывает.

— Ищё как бывает, когда девка жопу умывает! — Запредельно восхищённо поделилась природной наблюдательностью баба и, покачивая желудком из стороны в сторону, удалилась за зелёный щербатый забор.

— М-да... — сказал Ястреб интонацией интеллигентной тётушки по отцовой линии, свистнул электронным замком авто и отправился к дому за номером 57, так как номер 59 он видел.

Апричин поспел к самому разгару событий.

Примерно за час до этого самого разгара в саду появился Грамотей Недоучка. Подпритихли птички-синички, попрятались мышки-норушки, не говоря уже о букашечках. Анчутка тут же превратился в желающего выслужиться дозорного и выскочил с вопросом:

— Чиго ищите, господин хороший?

— Мелкую чертовку, — коротко и конкретно ответил блондин.

— Оне отсутствуют, — как-то даже подобострастно доложил банник. — У соседей ошиваются. А вы случайно не Судейный Приставала, он жа господин Грамотей.

— Он самый, — ответил Недоучка, — и вовсе не случайный.

— Значица, чигой-то сурьёзное? — вытянулся во фронт анчутка.

— Ты, вот что, — Грамотей присел на коротенькую лавочку у столба с большим медным рукомойником. — Придуриваться прекращай, заканчивай из себя амбарного времён крепостного права строить, а пригласи-ка девицу ко мне на разговор.

— Кого, Фырку? — глупо спросил анчутка.

— Если так зовут, то её, — вздохнул Грамотей и глянул на банника столь строго, что тот забыл свою боязнь покидать территорию вокруг бани и отправился в соседний дом, к Вороне.

А Фырка заспешила в соседний дом потому, что почувствовала изменения, заспешила сразу же, как умчалась стрекозой от реки. Но была задержана тёмно-синим вороном. Вначале-то она приняла птицу за очередной синеватый булыжник, кои вдруг слишком часто стали попадаться на глаза, но нет, чёрный клюв щёлкнул едва слышно и хрипло спросил:

— А в своё ли дело ты лезешь, чёртова мелочь?

— Уж не в твоё! — нагло по обыкновению ответила Фырка, у самой же спина напряглась страхом и лопатки стали такими острыми, что вот-вот проткнут кожу.

— Там у реки ты уже нырнула в полынью, — заметил ворон. — И лёд неотвратимо затягивает её. Ты превысила свои полномочия и сама это знаешь.

— Тебя не спросила! — дуря от страхов предчувствия, завопила чертовка.

— А меня и не надо, — ударил багровым веком ворон. — Спрос-то с тебя будет. — Ворон поднялся над яблонями и начал медленно кружиться.

— За спрос денег не берут! — жалко нахамила Фырка, ставшая маленькой, меньше анчутки. И знать от такой малости вывалила: — Дура я, да. Но кто поймёт сердце девичье..., — Ворон смахнул крылом народившуюся слезу сочувствия и спросил: — Может помочь чем?

— Передай Свириду на Вострый конец, где я нынче обретаюсь, — попросила Фырка.

Стремительной дугой синяя птица ушла ввысь, врезавшись в небольшую тучку, словно специально для этого возникшую в небе. И очень быстро тучку унёс ветер.

В доме у Вронской Фырка застала небольшой праздник. Златоокий пришёл в полное сознание и самостоятельно держался на ногах. Необходимость в этом была недолгая и Марья Михална с Медовой усадили его за стол, завтракать. Ведь это чистая психология — коли сел за стол, значит, выздоравливает. Фырка пробралась за печку и принялась наблюдать.

А златоокий улыбнулся. Ах, и ох, что это была за улыбка! О такой говорила, ещё не избитая напрочь лютой жизнью, Анна Ахматова: «Улыбнулся, полуласково, полулениво поцелуем руки коснулся — и загадочных, древних ликом на меня поглядели очи...» А чуть раньше, выше по столбику, она понимала: «Я только вздрогнула: этот может меня приручить». О, русские женщины

жаркие телом! Они в большинстве не знавшие поэзии, знали это — «приручить». Их вывод, куда проще ахматовского «пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь», но суть всё та же — бабья смерть.

Фырка за печкой обрадовалась и даже заплясала нечто вроде «камаринского», но странный холод сковал её ноги, и она шлёпнулась на попу. А и непонятно, ведь сидит она за печкой с треснувшими изразцами, а в печи огонь, не очень жаркий огонь, тот, что от сырости, но всё же... Уже и иней у ног Фырки. Изморозь. Фырка и валенки споренько сваляла, беленькие, с красной каёмочкой. Не очень помогло. Присмотрев шерстяной плат, висевший на спинке стула, чертовка, как ей казалось, незаметно, стащила его и только завернувшись в три витка, перестала дрожать.

Добираясь до соседского дома, а для анчутки это была серьёзная дорога, банник оглянулся на дом Медовой и увидел какую-то мышку с шестицветным, но кошачьим хвостом. Этим хвостом животинка чертила искрящийся пунктир округ строения. Хорошо сие или плохо, анчутка не знал, но понял, что знакомый мир может измениться до неузнаваемости. Он оглядел дом Вороны, вздохнул и полез на крышу.

В печи, что-то зашумело и под окрик Вронской — «кышь, нечистая сила!» — прямо к

ногам Фырки вывалился подкопчённый банник. «Ты дурак, что ли?» — изумилась чертовка. — В растопленную печь-то лазить?!» Анчутка обмахнулся драной рукавицей-верхонкой и зашептал: «Тама этово тебя спрашивают. Господин Грамотей Недоучка на разговор зовёт». Холод тут же вернулся и навалился на Фырку огромной ледяной глыбой.

Предчувствие не обмануло.

Апричин встал перед воротами и с интересом разглядывал следы сажи. «Странно пишут номера здешние хозяева», — подумал он и, не найдя звонка и шнура для колокольчика, постучал в ворота. В ответ — тишина и Ястреб толкнул калитку. Калитка распахнулась.

Грамотею не понравился вошедший в сад человек, совершенно явно обладавший мощным чутьём. Оно полыхало вокруг мужчины на пару саженой и полыхало столь огненной дугой, что Грамотей решил скрыться за банькой, ибо человек с таким чутьём мог учуять ведьмака.

Ворон, на лету уточняя навигацию и координаты, добрался до мансарды Свирида. «Хамит излишне», — добавила птица, изложив просьбу и указав местопребывание Фырки. «Да, уж...» — согласился околоточный аблакат, отблагодарил ворона самоплодящейся семечкой и

крепко задумался. Об юридическом праве на чёртов гребень. И решил, что он в праве воспользоваться гребнем, ради помощи сироте, владельце сокровища. Свирид поднёс гребень к губам, дунул сквозь зубцы и попросил: «Отнеси к своей хозяйке». Турбулентность подхватила чёрта, выбила квадратное оконце и помчалась в далёкий сад с полужасохшей грушей.

«Не пойду!» — категорически отказалась Фырка. «Хуже будит», — разумно указал анчутка. «Не пугай, пуганая! — забубнила чертовка, трясущаяся от хлада и страха. А и неожиданность! Фырка услышала песню своего гребня. «Дядька! Больше некому!», — обрадовалась она и согласилась идти с банником.

И, казалось бы, маленькая чертовка попадёт в центр треугольника: ведьмак — чёрт — человек, ан нет, едва они с анчуткой пролезли в сад Медовой, как заскрежетало до боли в ушах. В сад явились бсы. Демоны-слуги Сатаны, Ахримана и Асмодея. Конфигурация обрела жёсткую конструкцию, но в центре её, по-прежнему, Фырка. Не каждый испытал на себе ощущение, что ты являешься яблоком раздора, яблоком, которое начинают кромсать разными ножами, и дай Бог, чтобы не довелось испытать. Конечно, Фырке Господь вряд ли стал бы помогать, хотя пути Господни неисповедимы, и опять же — чем чёрт не шутит, но

Фырку жалко. И стоит она на лавочке-приставочке у рукомоЙника, жалкая до невозможности, и дрожит осиновым листом.

Ястреб, обладающий на редкость зорким глазом, с невероятным напряжением вглядывался в колебания и кручения воздуха. Чтобы увидеть чётко, тем более, чтобы вмешаться, ибо обрывки допроса он слышал, и они непосредственно касались его дела, ему требовалась помощь. Ястреб её попросил, эту помощь. Мысленно, безадресно... И она пришла. Потому как верим мы или нет, но миром правит равновесие. Золотое и серебряное облачко зависли, будто крылья над плечами Апричина. И картина полностью открылась.

— Это убийство, — проскрипел б'с Асмодея, а бсы Сатаны и Ахримана проскрежетали согласием.

— Это подстава! — рявкнул Свирид. Фырка с криком — «дядя!» — кинулась было к опекуну, но огненный бич Ахримана рассёк воздух, и чертовка вся сжалась и затихла.

— Это не ваша компетенция, — спокойно сказал бсам Судейный Приставала и зрочки его стали белее белого, что заставило демонов присмиреть, хотя бы и на недолгое время.

— В это невозможно поверить! — воскликнул Апричин.

Такая неуверенность человека дала

преимущество бсам и Фырка моментально очутилась внутри гранёного графина, выточенного из цельного скола. И каждая грань прозрачной клетки — пятьдесят восьмая! И пока остальные опомнились, бсы в унисон прокричали вопрос: «Ты убила?!»

— Ымзану! — запищала Фырка.

— Не знаешь? — усмехнулся пылающими угольями клыков бьс Асмодея. Раскалённый кончик бича скользнул в узкое горло графина и легонько коснулся чертовки. Сотни горящих игл вонзились в её тельце!

— Уназмы!! — закричала Фырка и забилась в корчах.

— Ах, ты бя гадская! — взвыл Свирид, бросившись к графину, но горящие бичи остановили чёрта. Не пройти! Грамотей с усмешкой посмотрел на Апричина, жестом руки говоря, мол, твоя очередь.

— Не троньте её! — громко сказал Ястреб и два великих крыла, золотое и серебряное, взвились за его спиной.

Удивительно, но горящие бичи исчезли, а демоны, пряча усмешки, отодвинулись от графина подальше. Однако Фырка осталась за гранёным стеклом сосуда, который Свирид прижал к груди. И в этот момент в калитку вошли Медовая и златоокий. Сила тёмной энергии сразу же сбила

женщину с ног, но мужчина поддержал её, бережно опустив тело на траву.

— Я вижу, грани звенят кандалами, — резюмировал хранитель и щёлкнул пальцами. Горный хрусталь осыпался извёсткой, а Свирид шустро выплеснул воду из рукомоёйника, сунул в него Фырку, кинул ей гребень, накрыл крышкой и крепко-накрепко вцепился в медный сосуд.

— Пора найти знаменатели — сказал златоокий.

3

Над Китай-городом накрапывал ситничек, самый мелкий дождик. А и небо не такое уж хмурое, да и с высоты пентхауса, эдакой мансарды для богатых, была видна солнечная полоска, с краёв подпалённая туманным багрянцем. Госпожа Берестаньи редко бывала в приподнятом настроении и крайне нечасто чем-либо любовалась, ныне же редкость и крайняя нечастость совпали: восторг покалывал кончики пальцев, а вид из окна-витрины приносил истинное эстетическое наслаждение, а сие было важно, так как госпожа Берестаньи являлась эстетом, без каких-либо кавычек и усмешечек. Эстетичная мадам была совладелицей книжного издательства, совладелицей картиной галереи, совладелицей кинокомпании и

владелицей типографии, коллекции картин, а также интернет-студии. У такого эстетски делового бизнесвумена должны быть веские причины для приподнятого настроения, и таковые имелись.

— Джильс! — позвала Берестаньи, а дом-пентхаус пребывал в звании почётного «умного дома», и голос хозяйки преобразовался в электромагнитные колебания, достиг дальних углов огромной квартирищи, выдернул из глубокого кресла мужчину, которого по наряду можно было ошибочно счесть за мажордома, тогда как на самом деле одет он был в клубный пиджак; служил же помощником мадам.

— Занимательно, но вот, что писал писатель Зощенко в двадцатые годы прошлого века в своём пасквиле «Кризис», — Джильс, а Грамотей не без труда, но узнал бы в нём конторского Ларискина, вопросительно глянул на госпожу Берестаньи и, получив одобрение взглядом, процитировал: «Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборт разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной. Вот заживём-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей ещё чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдётся при такой свободной жизни».

— Ну и к чему сей эпистолярный жанр? — спросила Лебяжья Шея, а это была именно она, лютая колдунья.

— Я вот чего подумал, — взялся объяснять Джильс, — вы-то, хозяйка, ну и я вместе с вами, пусть и не через двадцать, а через почти девяносто лет имеем по комнате для себя...

— И не по одной, — добавила Берестаньи.
...по комнатке для гостей...

— И не по одной, — уточнила Берестаньи.
...да и ванная имеется...

— И не одна! — хохотнула Берестаньи и приказала: — Выкладывай, чего удумал.

— Да я всё об участке в две сотки и домишке на нём прямо в центре китайгородском. Отселите придурка-владельца, ваше колдовство!

— Ах ты, маклерская штафирка... — почти нежно сказала колдунья. — Ладно, грехи — не бойся, закончим бриллиантовое дело, получишь участок.

Джилльс, вздрогнувший при «чёрт с тобой», занял позу ожидания указаний, ведь хозяйка его вызвала, но госпожа Берестаньи вернулась к окну-витрине и задумалась. Чем ближе приближалось время перерождения птицы Феникс, что происходило раз в сто лет, тем чаще Береста, а именно таково было её первородное, колдовское имя, впадала в дуализм. Конечно, сто лет — это

фигура речи, как и добавление «перед большой бедой». Плюс-минус лет пятнадцать, а уж слова о большой беде — слишком общо. И всё же, в чём дуализм? А в том, что колдовство есть важнейшее и неизменное занятие, не менее важное, чем жизнь, а бизнес — есть совершенное колдованство, в конечном итоге и, по сути, полностью противоположное колдовству.

О, оно хитрая штука, это колдованство! Коварное и ловкое. Заморачивает голову большинству, предоставляя удивительные привилегии и преференции меньшинству. Можно сказать и проще: специально обученные культурологи дурят большинство населения, для пользы меньшинства, так сказать, элиты. Колдованство — есть создание гипертрофированного образца в книге, в живописном полотне или в фильме, а затем, перевод сего образца в действительность, словно натурально реального персонажа. Примером Береста любила приводить интерпретацию московской поэтессы знаменитой истории о плевке в царский портрет, когда подпивший в кабаке лавочник, куражась и вытанцовывая коленцами, плюнул в портрет действующего самодержца российского, Александра Александровича. Повязали болезного, бросили в холодную, а дело, по традиции, как и всякое об оскорблении его

величества, легло на стол императора. И царская рука начертала, мол, нефиг мой портрет по кабакам развешивать, а что касемо наказания лавочника, так я на него тоже плевал. А в чём же колдованство культурогенное? А вот в чём: поэтесса в своей балладе, по следам лавочного проступка и царского поступка, использует такие слова, как мрачный подвал-каземат и палач. Нагнетание — вот этому название.

Настоящее же колдовство никаким нагнетанием не бывает. Оно просто и ясно, и противостоит добрым людям. Так может быть это и есть настоящий дуализм? И Береста висит на одном его конце? Вовсе нет. Прочно и крепко стоит благодаря совсем даже не колдовству, но колдованству. Зачем зелья, если есть обычное зло...

— Да... К делу... Собирайся, Джилльс. Пора посетить героя.

Предполагать и надеяться, что герои исчезли так же, как и пророки, наивно, скажу даже точнее — простодушно. Хотя интересно: пророков, вернее их дела увидеть легче; ибо дела их — научный и технический прогресс, а сами они есть учёные и исследователи. Преобразователи. С героями сложнее... Так и само название, ох, непростое. Безусловно, тётеньки в блузке с рюшечками у горла, а также дяденьки в растянутом джемпере или

в чичиковском брусничном фраке с искрой, развёрнутом с умом и шиком, сиречь, филологи и лингвисты, найдут объяснение сему термину в «древнегреческом» сочетании «доблестный муж», обладающим исключительным качественным органом, обозначенным старым русским словом — хер. Потому, важно не сочетание «доблестный муж», а оба слова. И доблесть, и муж. Без одного из двух героя не бывает. Вот и объяснение, почему Медовая влюбилась без памяти. Натура творческая — вперёд видит. А мы вернёмся туда, где вглядываются назад, в прошлое. В сад с медным рукомойником. Там и подождём новой встречи с Берестой. Ведь вы уже понимаете, что златоглазый герой, он же хранитель пятьдесят восьмой грани упал во двор номера 57 не случайно. Да, в его жизни редко случались случайные встречи... А потому воспользуемся рукописями и ноутбуком Медовой, и узнаем версию первого столкновения Бересты и златоокого героя Сарраса.

Алмазный поход (книжный вариант)

Плоская земля сменяется увалами, над ними вихрится первая метель и уже колкий снег бьёт со всех сторон. Одинокий всадник, сливаясь с конём, уходит от погони низких чёрных туч. И вот слева

льётся река и жмётся к её берегу дубрава, а на другом — взлетают утёсы и за ними — синий лес. Но всадник поворачивает коня вправо, где сквозь воздушную дрожь виден великий курган, за ним-то и должны быть шатры. Всадник огибает земляную пирамиду, посматривая на слегка накренившийся меч-акинак, вонзённый в самую вершину. Каурый конь переходит на шаг. Метель, наконец, догнала всадника и коня, но уже опоздала. Цель — великолепный алый шатёр, достигнута.

Коршун кликнул в небе, он-то избежал встречи с тучей-вороном. Его зоркий взор следовал за всадником давно, когда лучи Ра ещё не прервались, закрытые могучими чёрными облаками. Суровые лица воинов, бронзовые от костров, повернулись в сторону всадника и молча, почтительно кивали. Из малых шатров и из-под палантинов выходили ещё воины, и тоже никто не издал восклицания, никто не окликнул всадника, никто его не остановил. Четверо богатырей у алого шатра не спросили спешившегося всадника ни о чём и расступились перед ним. Саррас Бедавер, сказав коню «жди», шагнул на богатые ковры. Внутри его встретили двое.

Одна женщина была невыносимо красива. Другая — невыносимо уродлива. Мало найдётся слов, чтобы описать красоту первой и нет смысла вслух перечислять уродливости второй.

Невыносимо красивую звали Сапфир, была она царевной, а непередаваемо уродливую называли Береста, и все знали, что она колдунья, хотя зачем она и откуда, известно не было, а имелось большое подозрение, что неизвестно зачем и неизвестно откуда. Платье колдуньи сверкало золотым и бисровым шитьём, а голову, скрывая волосы, полностью покрывала, спускаясь по плечам, спине и груди до пояса, багряная шаль. Белое же платье царевны украшали лишь несколько красных нитей, а четыре пшеничные косы вершила кика. Тёмные с сапфировой искрой очи царевны смотрели неприветливо, сверлящий же взор красноватых игл Бересты покрывался поволокой радушия. Всадник наклонил голову перед царевной, на колдунью лишь прищурил правый глаз.

— Ты опоздал, витязь! Я жду тебя вторую седмицу, — Сапфир не ответила на поклон даже кивком.

— Разве я обещал приехать? — удивился Бедавер. — Да и были у меня заботы...

— Не спорь с ним, — шепнула в спину царевны Береста.

— Не обещал, — согласилась Сапфир, — но ведь я ждала...

— Я знаю, — зрачки Сарраса потеплели. — Хочу поговорить с тобой. Но только с тобой, — он прищурил на Бересту левый глаз.

Колдунья молча вышла из шатра, а царевна впилась в мужские губы поцелуем до крови.

Береста подняла лицо к небу, подставила под струи воды. Ливень загнал всех под навесы, и никто не видел, как к колдунье приковывал нахохлившийся коршун.

— Как он смог добраться?! Рассказывай! — проклекотала ему Береста. — Почему никто его не смог остановить?

— Он убил их всех, — ответил коршун.

...Вода в Нерли поднялась, и Бедавер брёл по колено, мимо Столпа Покрова. Такой путь подсказало ему чутьё и не подвело. Спутники непонятно отстали, а дорожка через лес стала слишком узкой, весьма подходящей для засады. Кряжец беспокойно шевелил ушами. Бедавер решил не попадать врасплох и повернул коня на опушку, с которой виден был купол и крест-звезда Покрова. А половодье-то пригодились! Братья-рыцари лишились помощи, первостепенной помощи, ведь в воде они не могли начертить на земной поверхности фигуру из слов «зумзеаз», встать в его центр и прочитать это слово в обе стороны. А слово сие помогало ловить ведьм, хотя братья хотели совсем не ловить, но подчинять. И подчиняли.

Знобящей была схватка! Скоротечной. Брызги и искры, крики и хрипы. И Саррас зарубил одного

из братьев, Балина или Балана, он не знал. Второй брат закричал дико, но бросился не к поверженному телу, а к берегу, где и взялся чертить слово страшное, слово заговорное. И почти уже начертил, да волна забурлила у самого Столпа, кинулась к берегу и смысла знаки с сырой земли. Рыжий конь унёс в синие леса выжившего брата. Вот тогда-то Бедавер и убил одного за другим своих спутников, затаившихся в чащобе. Предателей...

...Да, убил. А теперь Саррас, покинув царевну, идёт дорогой — тёмным лесом к волхву, а и недолго — тёмный лес закончился. Открылись громадные ступени скал, поросших пятнами мха, каждое величиной с кустарник. По ступеням скачет тревожный ветерок, предупреждает об опасности.

— Ну, что? — спрашивает Бедавер коня.

— Залезай в седло, — отвечает Кряжец.

— Может, обойдём? — спрашивает Бедавер.

— Что ли я умный... — отвечает Кряжец.

— Вперёд! — витязь садится в седло.

И уже до вершины остаётся всего одна ступень. Но сей миг, вершина — огромный камень оживает! Каменный великан выше обычной колокольни и каменная дубина в его остроугольных лапах, немногим меньше.

— Куда собрались? — у великана писклявый тонюсенький голос.

— На кудыкину гору! — жизнерадостно

ослабился Кряжец, а витязь усмехнулся находчивости коня.

— Гы!! — восторженно, до звона, запищал великан. — Считай, пришли. Я Кудыка и есть.

— Ты нас извини, Кряжец поскоморошничал. Мы дальше идём, — сказал Бедавер.

— Оплати подорожную и иди. Хошь один, хошь со своим ишаком.

— Во как! — изумился Кряжец, но витязь решил не заострять внимания на хамовитости великана и спросил: — И во сколько подорожную ценишь?

— А попляши день да ночь мне на забаву и ползи себе, — Кудыка развеселился. — Коли ползти сможешь.

— Унижает? — предположил Кряжец.

— Оскорбляет, — заверил Бедавер.

— Каменоломню соорудим? — спросил конь.

— Придётся, — ответил витязь.

Великан, послушав переговоры коня и витязя, хрястнул по ним своей каменной дубиной. Не попал. Саданул ещё раз-другой и опять промазал. Жизнеподъёмный настрой Кудыки сильно уменьшился, и каменное чудище принялось молотить по скалам, что твой смерд по ржаным стеблям. «А как попадёт?!» — разумно обеспокоился Кряжец. «Разделяться надо!» — крикнул Бедавер. Конь поскакал в одну сторону,

витязь побежал в другую. Каменная детина не умел думать двумя мыслями одновременно, потому принялся долбасить по всему подряд и так увлёкся, что забыл, зачем он это делает. Саррас и Кряжец уже давно соединились и стояли себе скромно в сторонке, любознательно наблюдая за работой великана. «Ой, дурак...» — только и сказал конь. Наконец, Каменный забияка устал, что подтвердили посыпавшийся с него мелкий щебень и крупный песок.

— Уф-ф-ф, — сказал детина и от обиды заплакал скальной смолой мумиё.

— Дитя натешилось... — ехидно ржанул конь.

— Рано радуешься, — витязь показал на полузаваленное ущелье, груды битых камней в котором зашевелились.

— Нянька!! — завопил Кудыка.

— Это ещё не страх был, страх сей час появляется, — понял Бедавер.

Битые камни перестали шевелиться, но посыпались во все стороны. Кошачьим прыжком на уцелевший валун взлетела железная раскоряка величиной с зубра, с мордой человека и собаки. Волосы её развевались проволоками-змеями, за спиной — крылья летучих мышей невероятных размеров, а в лапах-руках плетённый железный кнут. «Пещерная Рана!» — даже Саррасу стало

нехорошо. И было почему. Эринии — злые демоны, настолько злые и опасные, что сами себя боятся. Они бывшие женщины, душам которых были нанесены страшные раны. Железная раскоряка не кинулась на витязя и коня, а прыгнула к каменному дурню.

— Обидели масенького? — ласковым скрежетом спросила она.

— А-а-а! Плохие! — пожаловался недотыкомка.

— Зачем вы так? — с укоризной повернулась к путникам Рана. Кряжец хотел было вякнуть какое-нибудь ехидство, но Бедавер не больно, но ощутимо двинул ему промеж ушей. И пояснил сам: — Прости нас покорно, погорячились. Не подумали, что великан мал умом.

— Сирота, — вздохнула лязгом Рана. — Я-то, что смогла сделала, да видно поздно взялась. Чем вы его обидели?

— Подорожную требовал! — наябедничал конь.

— Ну и что? — удивилась Рана. — Требование честное, не хотите платить — можете обойти горы. Глядишь, за дюжину дней и ночей управитесь.

— На то времени нет, — честно ответил витязь. — А подорожную плату Кудыка уж очень унизительную потребовал, день и ночь ему на

забаву плясать!

В железной зверюге что-то забренчало, словно подковы в пустом ведре. Так она смеялась. — Экий забавник! — одобрила Рана. — Малой, чего поделаешь. И всё же, оплатить подорожную придётся.

— А то что?! — запальчиво спросил конь.

— А то обчество пополнишь, — ответила Рана и указала на открывшееся дно ущелья, сплошь усеянное человеческими и лошадиными костями да черепами. Наглость коня сразу поумерилась.

— И дорого ценишь? — спросил Бедавер.

— Да нет, — ответила Пещерная Рана и ухмыльнулась таким оскалом, что небо потемнело. — В поединок. Схлестнёмся?

Кудыка радостно замахал дубиной, а Кряжец приготовился услышать звон меча, вынимаемого из ножен витязем. Но Бедавер не стал хвататься за оружие, но спросил: «Трудно с одним глазом-то?». Только тут конь заметил, что одно око зверюги горит красным огнём, а другое — чёрная дыра.

— На вас и одного хватит! — заревела Рана. Крылья за её спиной зашуршали перепонками, а кнут в лапе зашевелился.

— Постой, постой! — поднял шую Бедавер. — У меня есть, чем оплатить!

На его правой ладони сверкал тёмно-красный рубин, полученный витязем от царевны Сапфир.

Крылья демона опустились, кнут замер в лапе.

— Неужто око какой-то сестры-эринии? — спросила она.

— Оно самое, — ответил Бедавер.

— Согласна! — И Витязь кинул зверюге рубин. Она ловко поймала лал и не менее ловко вставила в чёрную дыру. Теперь на её лице-морде горело два огня.

— Красива стало! — загремел каменными ручищами Кудыка.

— Идёшь-то к волхву? — спросила Рана Бедавера.

— К нему.

— Смельчак. Герой. Удачи тебе.

Бедавер взобрался на коня, и поскакали они подальше отсюда. Вслед им доносился каменный и железный грохот. Это нянька и сирота играли в догонялки...

А что дальше, пока неизвестно, не написано. И тот, кто мог бы рассказать о замысле, вот она — на земле без чувств лежит.

— Так вы одновременно и герой, и хранитель? — взялся уточнить Грамотей.

— Да, — ответил златоокий.

— А как твоё имя? — от имени бсов спросил бьс Ахримана.

— Саррас Бедавер.

— Скитающийся скиф! — не замечая тавтологии, воскликнула очнувшаяся Медовая.

— А чего у него глаза золотые? — тихо пробормотал вопрос Свирид, и Фырка пояснила, приподняв крышку рукомоЙника: — Это солнце, солнце течёт его взором.

— Так, о знаменателях, — напомнил Грамотей.

— Странно, что крылья выросли у хорька-соглядатая, — Саррас подошёл и в упор смотрел на Апричина.

— Просто поддержали человека, — объяснили Сестрички-привычки и переместились за плечи златоокого хранителя 58-ой грани.

— Оскорбления не к лицу герою, — сказал Апричин.

Однако зарождающаяся ссора не имела продолжения. Два хищных байка загрохотали у ворот. Седоки переглянулись и Берестаби сказала: «Мы почти ничего не пропустили». Джильс открыл перед госпожой калитку, Береста вошла вместе со словами:

— Не ждали издателя, Медовая?

Фырка, вцепившись в гребень, смотрела в щёлочку на представительное собрание, надеясь, что о ней забудут. Не вышло.

— Я думаю, что многие здесь лишние, —

спокойно и как-то очень веско произнёс Грамотей Недоучка.

— Те, кто пришли за убийцей, лишними не бывают, — от имени бсов сказал бьс Сатаны.

— Вы все — дети Вселенной, я с такими уже встречался, — усмехнулся Апричин. — Ваша главная черта, как и главная черта космоса — это агрессия. А мы с писательницей люди Земли, человеки. И живём по законам человеческим, а им свойственна не только агрессия, но и сострадание. Эй, чувырла, вылезай из рукомойки!

— Сам ты! — от возмущения Фырка забыла страх, выскочила наружу... и испугалась.

— Это людям-то... сострадание? — чёрт оглядел всех и разразился угрозой: — Не троньте её!

— Под словом «лишние», я имел в виду колдунью и слугу. По-моему, их расследование не касается, — по-прежнему спокойно уточнил Судейный Приставала.

— Как бы ни так! — резко возразила Лебязья Шея.

— Не так просто было заманить хранителя именно сюда, — добавил Джильс.

— А деревниш? — спросили Сестрички-привычки.

— Стоп. — Герой посмотрел своими золотыми глазами в глаза каждого. — Пусть

каждый расскажет, что знает.

Почему же они послушались хранителя? Почему рассказали? Сила. Сила Земли и Космоса билась в его глазах. Его предназначение перевешивало их возможности. Разве мы, хотя бы раз в жизни, не сталкиваемся с героем, разве мы не понимаем и не уступаем его силе...

— У вас, только обязанность, — сказал Бедавер по итогам допроса бсов. — Доказательств преступления чертовки нет, имеется лишь подозрение, совпадение и, практически, самооговор. А право на Следствие вы не имеете. Ежели же ситуация выявит вину чертовки, то от ваших хозяев она не уйдёт. Вам здесь больше нечего делать. — Бсы посовещались и со скрежетом умчались.

— У тебя, лишь интрига, — сказал Бедавер Бересте, — к делам чертовки отношения не имеет. Наши с тобой противоречия — это наши противоречия. Нечистой силы и людей они не касаются. Тебе лучше убраться восвояси.

— Мы в своём праве на охоту! — возразила колдунья.

— Но не здесь и не сейчас! — отрезал Бедавер.

— Ты ведь Судейный, правильно? — спросил хранитель Грамотея, когда грохот байков затих за поворотом поселковой улицы и добавил: — Ты же

судишь, а не расследуешь?

— Не всегда, но чаще так, — важно ответил Грамотей Недоучка. — Но вмешательство госпожи Берстенёвой меня сильно настораживает.

— Здесь только два пса, — продолжил Бедавер.

— Гончий, — он показал на Ястреба Апричина и махнул рукой на чёрта Свирида:

— И сторожевой. Пусть они и ведут следствие.

— Но чёрт слишком близок к подозреваемой, — возразил Грамотей.

— Значит, если обманет, то сгорят вместе, — усмехнулся герой.

Вершители судьбы Фырки определились. Сама она стояла тихонько и мела хвостиком землю. Она вспомнила какую-то лишнюю тень на реке, тогда, в час убийства. Грамотей молча кивнул и вышел через тайную калитку за банькой. Сестрички-привычки улетучились, а Медовая упала на руки Саррасу.

— Я Ястреб Апричин, консультант, — человек посмотрел на чертей.

— Свирид, околоточный аблакат, — солидно гуднул опекун, а Фырка оправила юбочку и засмушалась. Барышня, как ни крути.

Широченная улица колоссального города

изгибается горбом округлой земли. Она пустынна, словно во сне. Прямо с горба сильный ветер несёт рваные листы ненужных книг. В них нет тайны. Пустынным улицам без людей тайны не нужны. Но вот, навстречу ветру встаёт человек. Он ловит летящий лист, но тут же выпускает его из рук — в листе нет тайны. А в человеке есть. Ветер стихает, и широченная улица наполняется людьми. Явное становится тайным.

Ястребок родился в настоящем медвежьем углу, возможно и в том самом, куда к волхву пробирался скитающийся скиф. Родился, натурально, от заезжего молодца. Молодец, действительно был заезжим и на этом сходство с вечной лубочной историйкой заканчивалось. Уж больно нетривиальной случилась мама Ястребка и всё её семейство.

Отец был хорош собой, умён и амбициозен. И являлся настоящим геологом, а не непонятым, как деревниш. Мать же красавицей не была, хотя ума имела поболее, чем отец. Возможно, в силу этого ума замуж за заезжего геолога мать, а звали её Нинила, не пошла и принесла Ястреба в подоле, под взгляды собственного батюшки, дядьев и братьев, пытающимися быть суровыми, но таковыми не ставшими. Так и рос Ястребок в медвежьем таёжном углу при добром отношении родни и сильной материнской любви. Отец объявлялся раз в

год, на пару-тройку месяцев, его-то Ястребок ждал и любил, хотя старался, когда подрос, не показывать сего. Отец привозил огромный рюкзак книг и разговаривал с Ястребком всегда как с взрослым. А в свой последний приезд серьёзный разговор отец повёл сразу и не только с сыном, но и с Нинилой, её батюшкой и матушкой, дядьями и братьевьями. Смысл разговора был таков: в Москве произошла не просто смена власти, но большая часть видных коммунистов изготавились стать видными капиталистами. И всё бы ничего, где столица и где вы, однако геологической партии угораздилось именно сейчас найти в медвежьем углу богатые месторождения.

— Вы не устоите, — сказал он родне своего сына. — Это машина, которая сомнёт и вас, и вашу жизнь, и ваши богатства.

— И нет возможности забыть открытие? — спросила Нинила.

— Проблема в двух моих сослуживцах, — ответил отец Ястреба. — Они что-то почуяли и наняли охрану из бывших вояк. Половина документации у них.

— И договориться не получится? Откупиться? — спросил самый умный из дядьёв.

— Их слишком много и они слишком алчны, — ответил отец Ястребка.

— Ну, что ж... Тайга — опасный женгель, не

раз съедал экспедицию, — подытожил дед Ястребка. — Вечером выходим.

Весь день Ястребок провёл с отцом, который не замолкал, будто понимая, что это их последняя встреча. «Тётке своей доверяй, — сказал отец сыну. — Сестре моей. Доверяй, как себе. Не прогадаешь.»

Женгель поглотил алчную экспедицию, но и троих родственников Ястребка, но и отца. Ястребок плакал двое суток, пока до медвежьего угла не добралась его тётка, батина сестра. И тогда заплакала она и остановилась только, когда над могилой брата встал крест. «Вылитый отец», — сказала тётка Лиза и положила ладонь на голову племяннику.

— Ты, Нина, его не неволь, у него дом в Белокаменной. Соберётся учиться, не держи силком. — Мать пообещала, а что Нинила обещала, то и выполняла. И в год дефолта и банкротств, Ястреб Апричин, в сопровождении двух дядьёв прибыл в столицу.

Дядья пожили две недели, убедились в крепости стоявшего у реки собственного Апричиных дома по названию «коттедж» и в целеустремлённости тётки Лизы, не скрывавшей своей любви к племяннику, с которым она переписывалась все годы, прошедшие со смерти брата, и, убедившись, отбыли домой, увезя с собой

баулы инструмента, необходимого для горного промысла. За годы учёбы Ястреба материна родня, то есть, семья, наезжала редко, зато он отправлялся в медвежий угол и летом, и зимой.

Тётка Лиза почему-то замуж не выходила и без замужества не рожала, хотя мужчины у неё бывали, Ястреб это знал. Спрашивать об этом он не смел, а сама тётка не рассказывала. Родня Ястребка обеспечивала его камнями без скупости, а мать всегда напоминала о тётке Лизе, выделяя долю, специально для неё, но Лиза продолжала работать. А на последнем году учёбы Ястреб провёл свою первую консультацию, не касавшуюся семейного бизнеса. Причиной дела, за которое он взялся, была маленькая, двухгодичная сирота с примесью африканской крови, перетекшей от бабки — дитяти фестиваля 57-го года, родители которой лежали в своём BMW, который они называли, понятно, «бэхой», продырявленные пулевыми отверстиями вдоль и поперёк. Дело было завершено, а малютка была предъявлена тётушке и тётушка, посредством невеликой взятки чиновным штафиркам, оставила малютку при себе. Удочерила.

К этому времени Ястребу уже несколько обрыдло таскаться по женщинам и девицам, в дом их водить он считал неприличным, потому им было куплено небольшое ястребиное гнездо, нависающее над огромной застеклённой лоджией углового

третьего этажа «сталинки» в Красном Селе. Прилетал туда Апричин нечасто, предпочитая жить у тётушки, что удавалось всё реже, ибо консультации становились всё сложнее и продолжительнее, и требовали длительных отъездов.

Таков он и был, умный и коварный, смелый и осторожный тридцатилетний Ястреб Апричин. С таким-то и предстояло сотрудничать околоточному аблакату Свириду.

Которому стоило больших трудов забрать из дома с садом Фырку. Забрать-то чёрт забрал, но вот возвращения чертовки в мансарду Свирид не захотел. Поопасился. И правильно сделал, ибо кому, как не ему знать, что чем чёрт не шутит... Свирид сидел и чесал обкусанное ухо, якобы ломая рога от заботы, тогда как план давно созрел и план, надо сказать, ловкий. Свирид хотел попросить Ястреба, чтобы он приютил сироту. Таким трюком аблакат достигал нескольких результатов. Во-первых, ограждал Фырку от никуда не девшейся опасности. Во-вторых, сближался с Апричиным, с которым предстояло вести следствие, а уже одно то, что Ястреб не спорил с колдунами, ведьмаками, чудодеями и нечистой силой, настораживало. В-третьих, Фырке было полезно пожить среди людей, которые знали о её существовании. И наконец, в-четвёртых, — Апричин будет под

присмотром. Осталось договориться с Ястребом и Фыркой.

Свирид совсем не удивился, что с Апричиним договорились легко, причём с учётом того, что Ястреб озвучил все трюки, от первого до четвёртого. А и чего было удивляться, ведь чёрт был опытным аблакатом, возможно и самым лучшим среди московской нечистой силы, а значит и людей знавал, и их привычки да хитрости. С Фыркой было много сложнее. Чертовка корчила рожи, стучала роговицей копытца и обиженно отворачивалась от дядьки. И подбил Свирид Фырку последним аргументом: «Вероятно, Ястреб поедет встретиться с Героем».

— И меня с собой возьмёт? — с надеждой спросила чертовка.

— Ежли ты его в этом убедишь, — солидно ответил опекун. Фырка согласилась.

А Свирид точно знал, к кому он пойдёт выяснять, что случилось у реки — убийство, самоубийство или провокация.

4

Чтобы акуле «увидеть» объект, ей надо до него дотронуться. И вот её мощное тело касается встречного. «Увидит» и сожрёт, или поплывёт себе дальше?

Теперь слегла Медовая. Вронская практически переселилась к ней, а Саррас, наоборот, собрался уходить.

— Это нечестно! — с жаром доказывала старуха хранителю.

— Не гневитесь, Марья Михална, — просил златоокий. — Такие, как я, оперируют понятием «честь», а «честно-нечестно» для меня — бесполезные слова.

— И что же тебе подсказывает честь? Бросить в болезни ту, что любит тебя больше своей жизни? — как-то даже отчаянно спросила Вронская.

— Любовь поднимет. И неважно, ты любишь или тебя любят. Не проклинай меня, все мои остановки в пути — лишь остановки в пути.

Саррас поцеловал в губы тревожно спящую Медовую, поцеловал руку старухе и на пороге сказал: — Я попрошу помощи для вас.

Выйдя в сад, златоокий Саррас Бедавер, герой и хранитель 58 грани, встал над местом, где когда-то ударила струя живой воды и произнёс: «Деревниш! Ты взял слишком много камней, живая вода — только начало расчёта.»

Калитка ещё подрагивала на петлях, оставленная незапертой ушедшим Бедавером, а в сад Медовой уже входила худосочная девица в чепчике поверх туго стянутых, прижатых к черепу

волос. Серое длинное платье болталось на ней и, подобрав его длинными крепкими пальцами, девица неожиданно громко спросила бледными некрашеными губами:

— Помощь вызывали? Меня можно называть Чистюля.

Прежде, чем направиться к тому, о ком Свирид точно знал, околоточный чертяра вызвал к себе трёх своих лучших помощников-сыскарей. И вот они стоят, три красавца: Немец, Перец, Колбаса.

Немец — непревзойдённый крючоктвор, исследователь разных купчих и иных стряпчих бумаг. Перец — невероятный проныра, поставщик жгучих подробностей адюльтеров и тайных сделок. Колбаса — незаменимый соглядатай, умеющий сыто спать в сторонке и слышать всё и всех. Встретившись с каждым помощником индивидуально, в заброшенной бухгалтерии, на пожарной лестнице и у расколотой пивной бочки, Свирид отправился к вдове раскайного попа, которую для удобства называли Раскайна Попадья, иногда — Раскайна Ведьма, но чаще всего, просто Раскайна.

Раскайный поп стал знаменит тем, что отпевал самоубийц и позволял хоронить их на кладбище при храме. Понятное дело, что закончилось это

снятием сана, раскаянием, а затем и скоропостижной кончиной, и сие отвлекло внимание от пощады, а та продолжила мутить вокруг церквей и погостов. За пощадей-вдовой началась охота, однако, была она изворотлива, но и помогали ей силы, да, помогали... Охота же созвала опытных загонщиков и Раскайна превратилась, натурально, в Ведьму, характерной особенностью которой стала ловкая смена внешности. Ловкость достигла больших высот...

Безлунная ночь спрятала и звёзды, и Свирид видел совсем уж зорко. А потому разглядел у массивной перекошенной двери, почти полностью скрытой во мраке, чёрную кошку и уже знал, какую хозяйку животного он увидит, ежели его впустят за кособокую дверь. Такую же драную, как и кошка. Свирид скребанул косяк, будто когтями и принялся ждать. Ждать пришлось долго и когда дверь отворилась, то да, Свирид увидел тощую драную кошку, точнее образ, в стиле «помойная европейская», которая быстро приобрела некоторое человеческое обличье, эдакой потрёпанной дунайской дамы несерьёзного поведения. «Заходи, коли шутишь», — пригласила Раскайна. Огромная зала была заставлена позолоченной и поблёкшей мебелью, стены завешаны потемневшими картинами в потускневших золочёных рамах, высоченный потолок украшала лепнина и

замечательная люстра, ну и канделябры, куда же без них. Внешность Раскайной сильно диссонировала с обстановкой.

— Да всё, как-то не выйду из образа, — хмыкнула ведьма, заметив неодобрительный взгляд чёрта. — Как слетала в Германию, на шабаш-то, так и зависла картинкой.

— Ты мне-то басню про гору Броккен и Вальпургиеву ночь не втюхивай, — засмеялся Свирид. — Я не турист, а ты не экскурсовод.

— Ну ладно, ладно. Шучу, — ведьма указала рукой на глубокое кресло.

— Прости покорно, но некогда засиживаться, — чёрт вложил в тон, как можно больше вежливости.

— Тогда выкладывай... — Раскайная закурила какую-то сложной конфигурации сигарку, глотнула разноцветной жидкости из замысловатых граней фужера и приготовилась слушать.

Свирид рассказывал осторожно и аккуратно, стараясь не выказать лишнего, но и не обидеть ведьму недомолвками. Раскайная слушала не перебивая, а когда чёрт закончил, ещё посидела, подумала, и только потом спросила: «Ты чего хочешь, свою чертовку выгородить или как было узнать?». О, соблазн! Попробуй удержишься, ведь такой шансище выползает! Вот именно, выползает... Словно гадюка. Опосля спохватишься,

да не считаешься. «Правду», — дрожащим голосом сказал Свирид и в напряжении вцепился в обкусанное ухо. Ведьма ткнула окурком в фужер, откинулась на спинку кресла и уплыла на волнах чужих воспоминаний. В залу спустилась стужа, и когда Свирид изрядно замёрз, раздался голос Раскайной:

— Твоей чертовкой кто-то прикрылся. Человечья тень. Это не самоубийство.

— А чего она на себя наговаривает?!

— Стокгольмский синдром... Нечто вроде этого, — ответила Раскайна.

— А-а...

— Когда жертва и преступник дуют в одну дуду, — разъяснила ведьма. — Впрочем, тебе это без разницы.

— Так точно не Фырка? — решил уточнить чёрт.

— Его убил не обрез, стреляли из кустов.

— А кто, не увидишь?

— Нет, — покачала головой в непрозрачной вуали Раскайна, успев обернуться безутешной вдовой. — Ищи в тени.

— Благодарствую. Буду должен, — Свирид начал прощаться.

— Будешь, — ответила чёрная вуаль.

Выходя, Свирид споткнулся в прихожей об огромную, величиной с тигрину, кошачью шкуру.

Она прокричала ему вдогонку удадам и свернулась калачиком. Ведьма любила всяческие ретроспективы.

Апричин не поехал к прокурорским, а отправился на «землю», к ментам-полицаям, к тем, что и осматривали тело Юрия Марковича. Он вёз им «пожрать». Это ведь лет восемь назад правоохранителям хватало «поесть», а ныне — дай «пожрать» от пуза. «Нажравшись» полицейские выдали кормильцу результаты судмедэкспертиз, той, что пошла в дело, и той, что не пошла. Оно и понятно — вот он обрез, самоубийство и никаких тебе заморочек, никаких «висяков». Из настоящей же экспертизы явствовало, что муж Медовой был убит из армейского карабина, скорее всего, из дембеля, по имени «Архар».

— Во как, симоновский, с оптическим прицелом! — воскликнул Ястреб.

— Он самый, — кивнул опер.

Расставаясь с полицейским, Апричин учуял слабый запах колбасы. Сослаться на «пожрать» не было возможности, ибо выражение являлось фигуральным. И всё ж таки, странно... Но Ястреб списал запах на случайность, сиречь, отмахнулся, забот-то прибавилось. И главная забота на настоящий момент — потолковать с Фырккой. И Апричин отправился к тётке.

Пробираясь сквозь московские пробки, Ястреб с любопытством разглядывал город. Изначально-то он предпочитал разглядывать городских жителей, то есть, людей и животных, а также птиц. Занятие было весьма интересным, за дюжину с лишним лет, что Ястреб прожил в столице, городские жители сильно изменились. Ныне сразу было видно, состоятельный, или бедный человек, и не только по автомобилю. Всё более становилось заметно, образованный человек, или это только видимость. Менялась и внешность горожан, а не только одежда, — широких и узких азиатских лиц становилось всё больше. Одно время в городе почти не было видно кошек, потому что после взрывов на Каширке заложили подвальные окошки и оконца. Зато собак становилось всё больше, в том числе и диких, среди которых отчего-то преобладал серо-рыжий цвет. Однако к настоящему времени собак стало намного меньше, знать перестреляли, а вот кошки и коты расплодились, особенно чёрные короткошёрстные. Разнообразие же птиц начинало спорить с разнообразием архитектурных излишеств современной Краснозвёздной. Ястребу, под влиянием тётки Лизы — большой любительницы старой Москвы, такие излишества не нравились, но мать, приехавшая в столицу после двадцатилетнего перерыва, пришла к другому мнению. «Город

сильно похорошел и стал намного чище», — резюмировала Нинила после недельного пребывания в мегаполисе. Кроме такого урбанистического резюме, мать Ястребка приклеила подростой до возраста младшеклассницы удочерённой малютке третье имя. Дело в том, что носительницу эфиопской кровинушки крестили Елизаветой, что, вероятно, всерьёз повлияло на удочерение её тёткой Лизой, однако называла малютку приёмная мать, а вслед за ней и все остальные, Шарлиз. То ли потому, что тётке нравилась актриса Шарлиз Терон, то ли потому, что нравилось имя актрисы Терон. Нинила же, любуясь дымчатой с небольшой синевой кожей Шарлизы назвала её Сапфир. Имя прижилось, ибо нравилось самой поименованной.

Это-та девочка Сапфир с изумлением смотрела на проявившуюся в воздухе Фырку. Страх не было, страх имелся у тётки Лизы. Чертовка же, доставленная в приречный коттедж колченогим Чебурашем с негнущимися деревянными руками, с аппетитным удовольствием облизывала чупа-чупс в виде золотого петушка, специально припасённого для этой сцены. «Люблю, знаете ли, конфетку обЛИЗАТЬ», — сообщила Фырка женщине и девочке, чем сразу убедила их, что чертовочка — барышня, чертовски сообразительная. В этом же предстояло убедиться и

Ястребу Апричину, человеку, которого многие наивные люди считали консультантом, а немногие понимающие называли между собой консулом.

— Послушай, Джильс, — откинувшись на спинку высокого стула, спросила Береста, — ведь эта писательница Медовая попала в точку, верно?

— Скажем так, в девятку, — ответил Джильс, тоже откинувшись на высокую спинку и щёлкнул знаком гарсону дорогущего ресторана, в котором они отобедали.

— Тебе не хочется вспоминать время, когда ты был коршуном?

— Да, в общем-то, нет... — ответил бывший Ларискин, — если необходимо...

— Необходимо, Джильс, — заверила она колдунья.

— Ну, что ж, — согласился прежний коршун, — только рассказ будет от третьего лица.

Алмазный поход (реалистичный вариант)

Коршун, чем дольше следил за Бедавером, тем сильнее восторгался витязем. Не храбростью, храбрость коршун считал даром рождения, но умом. А важнейшим свойством ума коршун Жилистый полагал хитрость вплоть до коварства и

дальновидность. Витязь был дальновиден, он же опередил близнецов в выборе места боя, да и спутников-предателей разделал споро. Но был ли витязь коварен? Зоркий глаз подсказывал коршуну, что был. Что Саррас Бедавер продуманно сталкивает царевну Сапфир и Бересту. «Истый герой! — восхитился коршун. — Не мешало бы знать, заметил ли витязь меня?» Его это беспокоило.

— А верно ли ты не смог бы победить эту зверюгу? — спросил Кряжец. — Ведь она тебя унизила.

— Настоящего воина нельзя унижить. Нельзя обидеть. — Бедавер нахмурил бровь. — Или ты сомнение имеешь?

Конь промолчал. Он задумался. Его всадник, его хозяин совершал поступки, которые Кряжец не предполагал и не понимал. Когда положение случалось безвыходное и близкое к проигрышному, Саррас становился бесшабашным, а иногда и бешеным, словно берсерк. Когда положение — кум князю, витязь вдруг превращался в осторожного, крадущегося льва. «Дурак я что ли! Понять ни черта не могу!» — подосадовал на себя конь и сей же миг получил удар удилами по желвакам.

— Куда прёшь-то!? — рывкнул Бедавер. Впереди сочным цветом высокой травы зеленела топь. — Ты что, ловушек таких не встречал?

— Не встречал, — честно ответил Кряжец.

— Это топь страшная изумрудным ковром стелется. Обман смертельный, с головой уйдём — пикнуть не успеем, — Саррас успокаивающе похлопал коня по шее.

— Всегда так — сперва по ушам, а потом-то по душам, — буркнул Кряжец. Ему было стыдно.

Бедавер сошёл с коня и огляделся. Зелёная трава, высотой выше колена, странным образом заполнила всё вокруг. И лес исчез, словно его и не было. А впереди, саженьях в сорока, здоровенная кочка и на ней — засохший можжевелевый куст.

— Почто замер, соколик? Али не зришь, кому поклониться? — раздался голос, а вместо куста стоит толстожопая баба, а вся остальная — кости, обтянутые кожей. На худющих голых руках сидит мохнатая лягушка и жмурится.

— Не думаю, что нужда есть! — громким голосом ответил Саррас, а Кряжец подумал, с досадой: «Опять баба!»

А трава вокруг зашевелилась, почернела и полезла пиявками с красным жалом на концах. Под этими травинами-пиявками забулькала и запузырилась гнусная жижа, и поползла жуткая вонь. Даже коршун в небе чуял её. А чего он не чаял, так того, что сделает витязь. «Давай!!» — зычным и резким голосом, словно боевым рогом протрубил Бедавер, взлетая в седло. Конь взвился в

воздух, вмиг очутясь на кочке-островке, рядом с бабой. Но не баба это вовсе, но сама Карга! Мелькнул куст, ан нет — ветви обернулись сухими, почерневшими от запёкшейся крови щупами, толстый зад превратился в мутный пузырь с ядом, а мохнатая лягушка — в иссинего младенца — игошу, без ручек, без ножек и без глазок, только рот чёрный с жёлтым кривым зубом ядовитым. И этот игоша как завоет! Все пузыри на топи полопались и смрад встал стеной.

Засверкало оружие в руках витязя — в деснице клинок булатный, а в шуе ятаган! И рубят они, и режут они щупы-крючья. Верещит Карга! Крючья сыплются стручками и, коснувшись кочки, становятся детскими ручками, но витязя это не останавливает! Кряжец же бьёт стальным копытом в пузырь ядовитый, яд в топь вколачивает! Визг и вой стоит такой, что Бедавер и конь не слышат ничего другого, и самое опасное — потеряли из виду игошу. А зуб его страшный! Не то, что яд в пузыре, ежели чиркнет игошин зуб по коже, сразу смерть. Однако витязь уже разворачивается на игошу и коршун понимает, что возможности такой больше может и не быть. И Жилистый решился. Упал с неба, впился когтями в завывающий студень, и вовремя! Освободившись от крючьев-ручек да сбросив пузырь-зад, предстала Карга своей сутью, пастью страшной, неминуемой. А